

The book cover features a stylized design with a red background and white horizontal stripes. A large red sun is on the left, and a black silhouette of a tree is on the right. A person in a dark coat is walking away on a path at the bottom. The title and author information are printed in bold black letters on a white horizontal band.

**МУЖЕСТВО
ИВАНА РАСКОВА**

А. БОРИСОВ М. ИНГОР

**А.БОРИСОВ
М.ИНГОР**

**МУЖЕСТВО
ИВАНА
РАСКОВА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ
МОСКВА
1968**

32С5
Б82

Это повесть о русском воине, одном из тех, кто своей грудью защитил страну от фашизма.

Битва под Сталинградом, тяжелое ранение, девятнадцать операций, трудная, но любимая работа, поиски переднего края борьбы за жизнь, за счастье всех людей — таков жизненный путь Ивана Раскова.

Жизнь коммуниста Ивана Степановича Раскова — это утверждение героических традиций советского человека.

Художник
Г. Г. МАКАРОВ

1—2—4
5—68

ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ СКВОЗЬ СКАЛУ

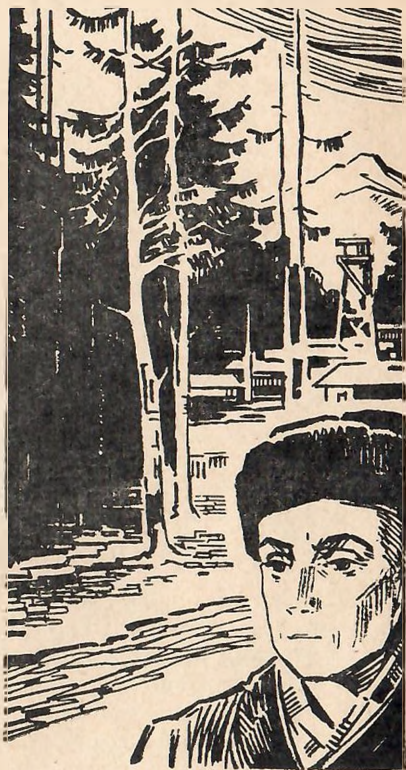
Тайга, тайга... Всюду куда ни глянешь. Она жмет-ся к поселку, могучими волнами перекачивается с сопки на сопку до самого горизонта, и кажется, нет ей ни конца ни края.

Зеленый океан! Сказочно красивый и сказочно богатый. Но суровый, полный контрастов, он любит сильных людей.

Зимой не шелохнутся ветви деревьев. Только треск промерзших сучьев нарушает звенящую тишину. Спит тайга.

А по весне словно встряхнется, наполняется многоголосым шумом. Клокочут бурные горные реки. Разбухшие от вешней воды, они мчат тяжелые коряги, ворочают камни, размывают берега.

Берегись, человек! Пережди половодье!



А если нельзя ждать? Если работу ведут под землей, если верхние воды врываются в шахту?

Тогда в горняцком поселке становится тревожно.

Неспокойно было на руднике и в ту ночь.

В нарядной перед работой было многолюдно, шумно. Вышло распоряжение: никого к стволу не допускать.

Парень, новичок, который впервые должен был спуститься в шахту, допытывался у старого горняка:

— Не могу понять, батя, что там случилось?

— А вот смотри, — сказал горняк и, погладив пышные смоляные усы, крючковатым пальцем прочертил на столе длинную линию. — Это рудная жила. Понял? Отсюда берут руду. Берут ее год, два, три... А потом видят: выработался пласт. Рудой все беднее и беднее становится. А геологи говорят: поглубже лежит другой пласт, богатый рудой. А как к нему добраться? Надо проложить вглубь вертикальный ствол. — Поперек воображаемой длинной линии он начертил на столе короткую. — Такой ствол называют слепым. Почему? Да потому, что пока это колодец, широкий и глубокий. Ничто больше. Потом от него вниз проложат новые штреки, по которым пойдет руда из нижнего горизонта. И у нас так приходится делать. Рудник выработался. Пришла пора новый ствол прокладывать вглубь. А тут — скала. Что делать? От ствола зависит, быть руднику или нет. Значит, надо проходить сквозь скалу. А как ее взять? Буры не берут. Остается одно: взрывами пробираться. Понял?

— Как не понять? — ответил парень. — Одно мне невдомек. Взрывами, слышал я, ствол прокладывают не один день. Почему же сегодня к стволу никого не пускают?

— Значит, ничего не понял, — с огорчением сказал горняк. — Почему все время взрывы шли хорошо? Рудная жила-то проходит под рекой. Зимой она замерзла. В шахте не так сыро было. А тут весна пришла. Земля оттаяла.

И река тоже, а от вешних вод еще распухла. Стала вода в шахту просачиваться, ствол заливать. Заложили заряды, а детонаторы промокли. Не сработали. Выходит, что ствол вроде как заминирован. И крепко. Восемь зарядов не сработали. Попробуй сунься в ствол. Мигом в воздух можешь взлететь.

— Что же теперь делать?

— Горный мастер сам взялся за это дело. Позвонили ему домой, разбудили. Идет сюда. Полезет в ствол.

Парень недоуменно взглянул на горняка:

— Постойте... Ведь вы же сами говорили: попробуй сунься туда...

— То-то и оно-то, — протянул горняк.

— Почему же он берет на себя это опасное дело?

— Такой уж это человек. Говорят, воевал под Сталинградом. Мужик геройский.

Кругом зашикали.

— Тихо!

— Идет!

Дверь распахнулась, и в комнату вошел высокий молодой человек в куртке и кепке, чуть сдвинутой на затылок. В нарядной стало тихо. Новичок с любопытством взглянул на этого смельчака и не смог долго оторвать своего взгляда от его лица: высокий чистый лоб, большие серые глаза, а нос, рот, подбородок — словно взяты с другого лица — необычной формы. Он как-то неестественно улыбался, а глаза оставались грустными. В них чувствовалась годами выстраданная боль.

— Здравствуйте, товарищи! — громко сказал он. Ответили недружно, растерянно.

Не задерживаясь, он пошел в шахту.

Вдогонку послышалось:

— Счастливенького!

— Удачи!

Молодой человек улыбнулся:

— Спасибо!

И, помахав рукой, скрылся за дверью.

* * *

Он шагал по-военному — широко, не сгибаясь, высоко держа голову. Под лампой поблескивали рельсы для вагонок. Свет ее падал в черный штрек, вырывая из темноты высокие стойки. Они стояли прямо, словно вытянувшись в струнку. В шахте было тихо. Шаги его глухо отдавались под ее низкими сводами. У ствола вокруг пачальника взрывных работ Шибанова собрались шахтеры.

Расков поздоровался с ними, подошел к краю ствола. У его ног в глубине лежало восемь зарядов, скрытых от глаз водой. Настороженные, готовые к взрыву, как восемь невзорвавшихся вражеских мин. Ну чем не мишное поле?

Как на фронте, Расков подал короткую команду:

— Все в укрытие!

Горняки поднялись и один за другим направились к штреку. Расков дождал, пока их лампочки скрылись в темноте, и обернулся: Шибанов остался с ним.

— Начнем, пожалуй, тезка? — тихо сказал он, улыбнулся и подошел к стволу. Нагнулся, прощупал веревочную лестницу, которая вела вглубь; она качалась, оледеневшие ступеньки поблескивали. Расков шагнул, поставил ногу на первую ступеньку. Лед хрустнул, веревка прогнулась, сжала ступню, и все же нога соскользнула. Слова поставил на нее ногу, закрепил и осторожно другой ногой стал ловить вторую ступеньку. Закрепился и переступил на третью.

По стенкам ствола струилась вода. Веяло ледяным холодом, а под ногами чернела непроглядная пропасть.



В далекой глубине лестница обрывалась. К концу ее привязан канат. Спускаться надо по нему.

Прошло немало времени, пока донеслось бульканье воды и он почувствовал под ногами землю. Он твердо стал, выпустил из рук канат, облегченно вздохнул и начал поспешно растирать руки. Пальцы не гнулись, ныли. Расков дул на них, мял, чтобы вернуть им гибкость, чувствительность. Это было очень важно. Под водой придется пальцами прощупывать провода, заряды, детонаторы. Пальцами надо «видеть», и видеть точно!

Соскользнул с каната и стал рядом Шибанов. Человек одной с ним судьбы. Одна судьба на двоих. Успешно будут работать — счастье обоим. Ошибутся, и случится беда, опять-таки на двоих: оба останутся тут. Вспомнилось фронтовое: «Минер ошибается только раз в жизни»...

— Приступим! — сказал Расков.

Он опустил руки в ледяную воду, нашел провода и медленно пальцами повел по ним, отыскивая детонатор. Нащупал его, потянул. Детонатор легко поддался и вышел из боевика.

— Один есть, — тихо сказал Расков.

— А у меня никак, — шепотом ответил Шибанов, слово громким голосом боялся вызвать взрыв.

— Что вы говорите? — обеспокоился Расков.

Он поспешно нащупал другой провод и по нему нашел детонатор боевика. Потянул. Капсуль сидел мертво. Нашел по проводам третий заряд, четвертый... Детонаторы не поддавались.

— Как у вас дела?

— Один заряд обезвредил, остальные не удастся, — ответил Шибанов. — Что делать?

Расков задумался. Шесть зарядов не обезврежены. Оставалось одно: рядом с ними заложить новые — заряд по-другому заряд.

— Взорвем! — сказал Расков.

— Но бурить скалу придется рядом с зарядами? — уточнил Шибанов, с тревогой глядя на Раскова.

Расков пожал плечами.

— Поднимитесь, пришлите бурильщика, а сами оставайтесь наверху.

Шибанов понимал, какая ювелирная работа потребует-ся при бурении и укладке новых зарядов. Малейшая неточность — и детонаторы в старых шпурах сработают.

Шибанов начал карабкаться по канату. Расков следил за ним. Он видел, как свет шахтерской лампочки то спокойно полз, то вдруг начинал мелькать по стенам ствола. Он уменьшался и наконец стал крохотным, как светлячок.

Расков ждал недолго. Он услышал шум над головой. Канат у его ног дернулся. Кто-то стал опускаться в ствол... Рядом с Расковым встал пожилой опытный бурильщик Сорокин.

— Бурить осторожно! — предупредил Расков.

— Понимаю, — ответил бурильщик.

Расков точно указывал ему места, где надо забуривать шпуры. Бур медленно вгрызался в скалу. Скрежет его резал слух, отдавал болью. Бурильщик прошептал: «Вроде свою кость сверлю».

Когда был готов шестой, последний шпур, Расков сказал Сорокину:

— Поднимитесь, пришлите взрывника.

Бурильщик неодобрительно покачал головой и, медленно складывая буры, молчал.

Понял его Расков: за него боится.

— Вы не волнуйтесь, — сказал Расков. — Я хорошо знаю дело и смогу помочь взрывнику. Ничего плохого не случится.

Бурильщик поднялся, в ствол спустился взрывник. Мо-

лодой парень, с лицом, тронутым рябинками, маленьким острым вздернутым носом и круглыми наивными глазами. Взрывать ему приходилось не раз, но, видимо, разговоры наверху о неразорвавшихся зарядах нагнали на него страху. Он растерянно оглядывался кругом.

— Я буду заряжать шпуры, а вы мне помогайте, — сказал Расков.

Парень обрадованно закивал головой.

Шпуры уже наполнились водой. Заряды могли промокнуть. Расков начал старательно обертывать их резиновыми чехлами. Боевики в шпуры вставлял так осторожно, что, казалось, они не касались друг друга.

Вложил один, другой, третий... Закончил и усмехнулся.

Когда он опустил в ствол, здесь было восемь неразорвавшихся зарядов. Сейчас двенадцать. Даже на фронте не случалось, чтобы так близко, буквально рядом с ним, лежало такое множество мин, заряженных, готовых к взрыву.

Расков взглянул на парня, который по-прежнему со страхом смотрел на него, и озорно подмигнул:

— Порядок! Поднимайтесь...

Парень только этого и ждал. Он начал карабкаться по канату ловко, как белка. Поднимался так быстро, словно за ним кто-то гнался.

Расков улыбнулся.

Наверху его ждали горняки. Он приказал проверить готовность к взрыву, всем уйти в укрытие и подал команду.

— Включить ток!

Взрыв потряс своды шахты.

Когда Расков вышел из шахты, уже было утро. Над тайгой вставало солнце. Вершины сопок, острые от елей и кедров, спяли в его лучах, казались сказочными теремками.

Тайга шумела. Пела свою вековую песню. Хороша эта

песня. Особенно по весне, когда все кругом просыпается, все хочет рассказать о себе: и бурная река, и нежный проснувшийся ручеек, и травка, что пробилась сквозь старую жухлую листву, и птица, вернувшаяся в родные края из южных, теплых, но чужих стран... Земля, сбросив снежное покрывало, дышит полной грудью. Ветерок, обильно напоенный весенним ароматом, еще прохладен, но уже нежно ласкает.

Полюбил этот край Расков за суровую красоту его, за нехоженые тропы, за то, что много здесь трудных дел и есть где человеку развернуться.

Шахта считалась тяжелой. Но Раскову она пришлась по сердцу. Он думал о ней, как о живом человеке. В его представлении она могла болеть, когда что-то не ладится. И могла дышать полной грудью. Тогда отсюда руда шла потоком. Она не спала ни днем, ни ночью, не уставая трудилась, давая руду. Она казалась ему старательным, умным работягой, который легко откликается на все доброе, что делают для него, и крепко наказывает за ошибки и нерадивость. Шахта видит каждого, кто спускается в забой, знает, что он там делает, и сторицею отвечает ему за все: и за добро, и за зло. Выше всего она ставила работу, и только за добросовестность ценила человека. Это была честная труженица, но суровая.

Может быть, именно за эту суровость и полюбил ее Расков...

— Иван Степанович!

Расков оглянулся: управляющий Анатолий Павлович Баранов.

— Устали за ночь? Спешите домой? Или, может быть, найдем на минутку-другую ко мне? Коротенько расскажете, как оно было.

Они вошли в рудоуправление. Управляющий провел Раскова в свой кабинет.

— Значит, фронтовой опыт пригодился? — выслушав Ивана Степановича, спросил Баранов.

Раскову нравился этот высокий с седыми висками человек. Нравился за неторопливость, спокойную уверенность в том, что делает. Иван Степанович знал, что за суровым пристальным взглядом черных глаз скрывается доброе сердце.

Анатолий Павлович прошелся по кабинету, подошел к Раскову и, глядя ему в глаза, спросил:

— Почему вы не прошли медицинскую комиссию? Скажите: вы сделали это умышленно?

Расков отвернулся.

— Вы молчите? Значит, так оно и было, — протянул Анатолий Павлович. — Зачем вы это сделали?

— Я был уверен, что медкомиссия меня сплшет, — глядя в сторону, тихо ответил Расков.

— Почему вы были в этом уверены?

— Потому, что медицинская комиссия, которую я проходил, когда получал диплом горного специалиста, запретила мне работать под землей.

— Запретила? — выдохнул управляющий. Он сел за свой стол и хрустнул пальцами рук. — Какое же вы имели право идти работать в шахту? Да еще в такую?

— Тем, что я пошел в шахту, я никому ничего плохого не сделал. — Теперь по кабинету ходил Расков. — Наоборот: я приношу пользу.

— Но это угрожает вашему здоровью!

— Да? — переспросил Расков. — А когда я под Сталинградом в шквальный огонь пошел в атаку, это не угрожало моему здоровью? Однако вы меня за это не осуждаете, надеюсь?

УРОКИ МУЖЕСТВА

В небольшом сибирском селе, в полутемной хате, угасала после родов молодая женщина. В углу на широкой кровати светилося её восковое лицо. Глаза ввалились в темные обводья. Тонкие бескровные губы были плотно сжаты.

У изголовья стоял молодой отец в огромных валенках, в исподней рубаше. Одной рукой он неуклюже прижимал к себе новорожденного, завернутого в холстину, другой вытирал слезы.

— Не реви ты, баба, — шепнула стоявшая рядом старуха, и поднесла к лицу невестки обломок зеркала. — Жива еще. Только не опоздал бы батюшка.

Дверь с шумом распахнулась. В избу в клубах морозного пара ввалился здо-



ровенный священник в новой шубе и высокой мохнатой шапке. Остановился у порога, осенил себя широким крестом. Тишину избы разрезал густой бас:

— Причащается раба божья Александра.

Большая всем телом вздрогнула, с ужасом прошептала:

— Чего это? Батюшка, ты зачем тут?

Бас на секунду осекся и снова:

— ...Прими душу рабы твоей покаянной...

— Не надо, батюшка, христом богом прошу, — молила, словно от него зависело — жить ли ей. — Не могу помирать. Мне жить надо, сына растить.

Крепкая была характером — это верно. Но счастье ей не досталось: отнялись нога и рука. Пластом лежала на полатах. Лютая свекровь ставила ей кружку воды да лопоть черствого хлеба.

А сыну шептала:

— Ты себе другую подыскивай. На что такая в крестьянстве?

Думала, Александра не слышит. А та паутро через соседей отца своего вызвала. Жил он верстах в тридцати.

— Возьми, тятя, к себе. Хворь я одолею. Хлеб твой за дарма есть не буду...

Степан понуро глядел, как вынесли ее и ребенка и уложили в розвальни. Хотел рвануться, вернуть, но грозный оклик старухи остановил его.

Отец смастерил Александре костыли. Начала вставать. Каждый шаг острой болью резал тело. От каждого движения больной руки рябило в глазах. А она стискивала зубы, шагала по хате медленно, тяжело. С утра до вечера. Изо дня в день. Изнемогала, а училась ходить, рукой двигать. А по весне соседи ахнули: Александра уже без костылей вышла картошку сажать. И обе руки проворно работали.

Слух о том дошел до Степана. Упросил мать вернуть

Александрю. Приехал за женой. А она в это время штанишки сыну шила.

Разговор был коротким. Александра порвала нитку и протянула ее Степану:

— Срасти, попробуй. Вот так и наша с тобой жизнь.

Уехал Степан. Но не надолго. Не выдержал, по осени приехал на телеге, чтобы увезти жену с сыном. С урожаем гостинцев привез. На пороге дома тестя встретил:

— Не могу жить без Александрю.

Тот покачал головой:

— Поздно. Как ты уехал весной, забрала мальчишку и скрылась. Скажи, говорит, Степану, пусть считает, что видел сон, да кончился. Не было у него ни жены, ни сына. Вольная он птица, пусть живет как знает...

Даже погоревать Степану не пришлось — оженила его мать вскорости. А Александрю жизнь мотала крепко. Чем только не работала, чтобы мальчишку прокормить, выучить. Поварихой, сторожем, милиционером. Женщина была невысокая, но крепко сбитая, чернобровая, черноглазая. Многие говорили ей:

— Молодая ты еще, ладная, чего во вдовах-то сидеть?

А она:

— Мужа найти раз-два. А вот отца мальчонку где возьмешь? Нет уж. Живу, чтобы его в люди вывести.

А парнишка не раз спрашивал:

— Мама, а где мой батя?

Отвечала коротко:

— Помер.

А если уж очень приставал с вопросом, кто он был, да какой он, отвечала:

— Статный. Красивый. Умный. И духом сильный! И ты таким должен быть.

Работать ей приходилось много. На воспитание сына не всегда хватало времени. А мальчишка пристрастился к

улице. Как-то он продал свои учебники и купил на рынке селедку и хлеба. Домой не пришел. Ночевал на окраине города, в развалинах старого барака. Мать, сляясь его отыскать, сбилась с ног. Нашла у гостиницы. Выпрашивал у прохожих деньги: в дальние края собрался. Увела домой. Не била, нет. В жизни, как бы ни напроказил, пальцем не тронула.

Села рядом, положила руку ему на плечо и рассказала сыну немудреную историю своей жизни. Всю правду сказала. Только отец для сына остался красивым, сильным, но мертвым.

Слушал внимательно, горели уши, ярко пылали щеки, в глазах стояли слезы — рассказ матери всколыхнул, поднял в душе бурю.

Видела это мать. Однако, чтобы окончательно оторвать сына от улицы, решила она все бросить: насиженное гнездо, привычную работу и податься в дальние края, где жизнь сурова, но меньше соблазнов для мальчишки.

Плыли на плотках. Бурная река пенилась, искрилась. Угрюмые горы, укутанные щетинистой тайгой, свисали над нею. Плот бросало: вот-вот опрокинется, разлетится в щепки. Потом на вьючных лошадях пробирались по горным тропам.

Бараки, глухая тайга... Зимой морозы, от которых дух захватывает, снега такие глубокие, что утонуть в них можно. А летом комары, мошкара...

— Привыкай, сынок, к трудной жизни. Суровая жизнь человека закаляет. Сильным будешь.

Зимой сын учился, а летом работал на приисках, помогал старателям намывать золото. А после работы придет домой да рухнет на койку.

— Устал, сынок? — спросит мать. — Это хорошо. Значит, власть поработал.

На приисках он вступил в комсомол и вскоре стал за-

певалой молодежных дел: школьных, клубных, приисковых. А зимой в каникулы ходил с комсомольцами добывать золото. Тайга трещала от мороза, а ребята сбросят полушубки и в одних телогрейках работают. Жарко было. Старые золотоискатели, словно деды-морозы с окладистыми, белыми от инея бородами, с доброй завистью глядели на молодежь.

Александра Савельевна гордилась своим сыном. Он повзрослел, окреп, раздался в плечах. На него уже стали заглядываться девушки. Парень был красивый — нос точеный, зубы ровные, глаза большие, серые, прямо в душу глядят.

Когда на прииск пришла тревожная весть о войне, не было ему еще восемнадцати лет. Только успел восьмой класс окончить.

Матери в ту пору дома не было. В командировку уехала, на соседний прииск. Сам решил: пришел на призывной пункт.

— Запишите меня!

Ему ответили:

— Мал еще.

Тогда комитет комсомола написал ходатайство. Поддержали старатели. Добился-таки своего.

На сборы дали только сутки. Думал Иван, что так и придется ему уехать, не простившись с матерью. А она узнала и пошла навстречу новобранцам. Всю ночь пробиралась сквозь тайгу глухими местами, где не увидишь живого человека, но на каждом шагу можно встретить зверя. С рассветом вышла на тропу, по которой отправлялись новобранцы.

И встретила сына. Прижала к груди.

— Раз уж решил идти на фронт — иди! Только, прощай, береги себя, сынок.

Поцеловала и пошла за лошадьми, на которых уезжали

новобранцы. По горной тропе среди колючих кустарников. Шла долго. А потом, видно, утомилась. Лошади удалялись от нее все дальше, и она отстала.

У изгиба реки, где тропинка спадала к обрыву, пришлось круто свернуть в сторону. Расков обернулся. Матери уже не было видно.

Последнее, что он запомнил: она бредет за ним по горной тропке в телогрейке, в мужских башмаках и глухо завязанном платке. Бредет и смотрит ему вслед.

Не знал парень, что, как только осталась в тайге одна, упала на землю и горько, безутешно заплакала.

Заплакала мать, о которой люди справедливо говорили: женщина-кремень. Словно материнским сердцем своим почувала, что таким уже не увидит его, своего единственного, ненаглядного, ради которого жила.

* * *

Расков осторожно выглядывал из-за бруствера, осматривал поле боя, когда к нему подбежал запыхавшийся связной:

— Товарищ лейтенант! Тяжело ранены командир роты Божко и политрук Корнеев. Вести роту в наступление командир батальона приказал вам.

В то осеннее утро все беды, казалось, свалились на сибирскую дивизию полковника Гуртьева. На рассвете немцы обстреляли ее полки из тяжелых орудий и шестиствольных минометов, затем нагрянули вражеские танки и самолеты. Но дивизия не только отстояла свои рубежи, но и сама пошла в наступление.

В июле 1942 года немецко-фашистские войска, не считаясь ни с какими потерями в живой силе и технике, вышли в большую излучину Дона. И тогда создалась угроза прорыва врага к Волге в районе Сталинграда.

Потребовались срочные и решительные меры, чтобы ликвидировать эту серьезную опасность. А для этого надо было отвлечь силы врага от Сталинграда, ослабить удар противника по нашим войскам, защищавшим твердыню на Волге.

Кровопролитные бои в бескрайних донских и волжских степях не утихали ни в июле, ни в августе, ни в сентябре.

Ставка Верховного Главнокомандования в своей директиве от 3 сентября на имя своего представителя генерала армии Г. К. Жукова указывала, что «положение под Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от города. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящими к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику... Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению».

Предстояло во что бы то ни стало разгромить вражескую группировку, которая прорвалась к Волге, восстановить линию обороны, общую с Юго-Восточным фронтом.

По противнику ударили немедленно, сокрушая его армады танков, доты, дзоты, минные поля и проволочные заграждения.

Войска, сражавшиеся в донской степи, отвлекали силы противника от Сталинграда на себя.

В эти суровые дни, решавшие судьбу Сталинграда, прибыла на фронт 308-я стрелковая дивизия полковника Гуртьева. Она вошла в состав 24-й армии. Дивизия вступила в бои прямо после пятидесятикилометрового марша. Для подготовки к наступлению не было времени. Наступать приходилось в лоб, прямолинейно, порою не зная ни сил, ни обороны противника. То там, то здесь вдруг появлялись огневые точки, и надо было их уничтожить быстро, решитель-

тельно. А для этого требовалась не только храбрость, но и умение, мастерство.

В полку майора Савкина рота противотанковых ружей подбила девять немецких танков, но офицеры один за другим выбыли из строя.

И вот последняя тяжелая весть: ранены Божко и Корнеев. Полк закрепился на новом рубеже, чтобы по первому же сигналу перейти от обороны к наступлению.

Позиции пролегли в ковыльной степи. Справа чернели обугленные развалины на территории совхоза и железнодорожной станции «Котлубань». А впереди грозно поднималась высота — одна из сильно укрепленных огневых позиций противника. Оттуда враг простреливал степь, казалось, пулеметными очередями можно было косить траву.

Это сковывало действия наших войск. Надо было во что бы то ни стало отбить у врага высоту.

* * *

Воспаленными от бессонницы глазами Расков взглянул на часы. Была половина девятого. Через тридцать минут наступление.

Первый раз в жизни он поведет роту в наступление. Все, чему его учили, его решительность, смелость, находчивость, — все будет проверено на пылающем, грохочущем поле.

Расков пошел по траншее, чтобы еще раз проверить готовность своей роты.

Люди приготовились к стремительному рывку. Сибиряки — народ кряжистый, на своем веку они повидали немало: лютые морозы, когда воробьи коченеют на лету, непролазную глухомань тайги, леденящие ветры, свирепого зверя.

Но там был свой закон. Если слаб духом — уходи из сурового края.

А здесь уходить нельзя. Каждый понимал: судьба Родины в его руках. Он отвечает за нее.

Здесь властвовал беспощадный закон войны: кто — кого. Кто сильнее — человек или бронированное чудовище, которое ползет на тебя, и кажется — ничем его не остановишь? Человек или самолет с фашистской свастикой, который бросает в тебя бомбы? Человек или свинцовый ливень, сметающий на своем пути все живое? Кто сильнее?

Сибиряки убедятся — Человек!

В то утро предстояла суровая проверка.

* * *

Сентябрь в тот год стоял сухой и знойный. Земля словно камень — лопата не берет. Трава на полях пожухла. На деревьях уже золотились осенние листья. Но листопад не начался. Сады стояли в густом малахитовом убранстве.

На поле, чуть в стороне, росло одинокое дерево. Издали трудно было разобрать какое. Говорили, клен. Стоял он в огневом пекле. Рядом рвались снаряды, мины. Видимо, он был изречен осколками. Пули, наверно, не раз шумели в листве, рвали, сбивали ее.

И все же клен стоял, наперекор огню, наперекор смерти. И все дивились его стойкости. И каждый раз после перестрелки бойцы, выглядывая из окопов, смотрели: цел ли? А он стоял на ветру, и ветви его, казалось, приветствовали воинов: «Смотрите, я — жив!» И этот клен стал родным, близким существом.

Расков проходил по траншее от взвода к взводу, от бойца к бойцу. Он был внешне спокоен, словно на ученье. Даже шутил. Но бойцы провожали его тревожными взглядами: каков он в бою? Уж больно молод. Понимали: спокой-

ствие его, шутки — это для них, потому что не до шуток сейчас. Конечно, он видит, не может не видеть, как все измотались. За ночь три атаки отбили.

И Расков все это понимал. Понимал он также и то, что спокойным быть надо. И шутить надо.

Так он шел по траншее — где шутка, где улыбка, где простое прикосновение к плечу солдата. И получал ответное человеческое тепло.

Вдруг в резкий разрыв диких мин и в свист слепых, наугад пущенных пуль ворвался чуть слышный напев. Что-то знакомое. Он подошел ближе. Это в головном взводе. Теперь этот одинокий голос подхватили другие, дружные:

В тяжелое время, в годину лихую
С оружием встали мы в строй.
Товарищ, Отчизну свою дорожую
В боях отстоим мы с тобой!

Запевалой здесь был пожилой солдат. Густые брови его и рыжие усы вразлет уже тронула седина. Чуть прищуренные глаза смотрели колко, с усмешкой, словно говорили собеседнику: «Меня, браток, не проведешь».

Фамилия его была Сергеев, а звали уважительно по отчеству — Кузьмичом. За его плечами была гражданская война, знаменитые бои под Перекопом.

Расков остановился около Кузьмича, прислонился плечом к стенке траншеи и присоединился к поющим:

Иди же вперед, наша триста восьмая,
На бой за Отчизну свою,
Гвардейское знамя взвевается над нами,
Мы славу добудем в бою.

В этой песне жила мечта бойцов стать гвардейцами. И мечта эта шагала рядом с большим ратным трудом, с подвигом, массовым героизмом. Пройдет лишь год, и сибирской дивизии присвоят звание гвардейской.

Конечно, восемнадцать фронтовых дней уже кое-что дали бойцам. Автоматчики научились отсекалть вражескую пехоту от танков, а бронейбойцики бить в самые уязвимые места бронированных чудовищ — в мотор, бензобак, смотровые щели. Но бойцов еще надо было исцелять от недугов, которыми обычно страдали новички: танкобоязнь, самолетобоязнь, и помочь им в этом должен он, Иван Расков.

— Товарищ лейтенант, — тихо сказал Кузьмич, — посмотрите, что песня сделала.

И он кивнул на бойцов.

Он уже не пел, а лишь времнами тихонько подпевал бойцам. Запевал комсорг Фефилов. Лицо его воодушевлено.

Расков оглянулся. Глаза воинов, казалось, улыбаались, блестели. В них ожили сила, задор.

— Песня человека за душу берет, — сказал Кузьмич. — Иной приказ того не сделает, что она может. Такая сила в ней. Человек для песни рожден. Умирать буду, а все равно так скажу.

Помолчал, потом вновь, мельком, словно невзначай, взглянул на Раскова и продолжал:

— Как мы Врангеля громпили? С песней. Если перед боем она в тебе дух подымет, а потом впереди тебя командир поскачет на лихом коне... тикай, Врангель, в самое Черное море.

Расков взглянул на Кузьмича: зачем он об этом вспомнил? Чтобы командир на ус намотал?

Слова Кузьмича напомнили Раскову о его родных местах, о тайге, золотоискателях, приисках. Вспомнилась мать, как она шла в телогрейке, старом платке и больших мужских башмаках по таежной тропе, провожая на фронт его, добровольца, мальчонку.

Теперь бы она его не узнала. Огромные серые глаза его, которые всегда так жадно, открыто смотрели на мир, по-

суровели, сталью отливают. Когда-то по-детски пухлые щеки ввалились, на лбу легли складки, и ранняя паутинка морщин воровски прижались к уголкам губ, глаз, везде, куда смогли ее примостить усталость и забота.

А Кузьмич молодец. Только что смолкла песня, а он уже что-то рассказывает бойцам. Расков прислушался.

— Когда в Крыму громили Врангеля, наш брат красноармеец впервые в жизни столкнулся с английскими да с французскими танками. Сколько страху они на нас нагнали, поначалу, конечно! А потом прикинули, что к чему, и убедились: и танки истреблять можем.

— Как же? — спросил солдат Фефилов.

— Хитростью, — не задумываясь, ответил Кузьмич и объяснил: — В клещи его брат научились. И отбивали у врага танки. А теперь у нас чудо-бронейки имеются. Приглянулось мне противотанковое ружье. Как только пришел в полк, тут же обратился к комбату: «Прошу зачислить в ПТР, и никуда больше». А он шутит: «Если ты такой бедовый, будешь у нас ездовым или поваром». Говорю: «Только в роту противотанковых ружей!» — «Ни в коем случае, туда молодые нужны, сильные». Комбат наш тоже с характером. «Тогда, — говорю, — разрешите обратиться к командиру полка». И обратился. И вот майор Савкин Григорий Иванович лично приказал: «Зачислить Петра Кузьмича Сергеева в роту ПТР»...

Крепко подружился Кузьмич с бронейным ружьем. Надо было видеть, как тщательно за ним ухаживал. Как известный на Сталинградском фронте бронейщик Громов, он бережно клал ружье рядом, когда ложился спать. Он всегда находил тряпки, рогожи, досочки и прикрывал ими ружье, чтобы его не засыпало землей, не намочило дождем. Он никому не доверял свое ружье: и в походах, и в наступлении носил его сам. Он лелеял и холил свое оружие, как мать лелеет любимое дитя. Вместе с молодым

бойцом Васей Ключевым Кузьмич первым в роту подбил фашистский танк и этим, конечно, гордился.

Бывалый, опытный. Знает, что к чему.

Вот такой же и политрук Иван Федорович Корнеев. Тоже пожилой солдат. Кадровый омский рабочий. Заботливый. Ему до всего было дело: до ружей, и до котла с горячими щами, и до сумки почтальона с письмами и газетами, и до песни. Все его волновало, все, чем жил солдат на войне.

Мудрая, житейская теплота, которая приходит к людям с возрастом, была свойственна и политруку и этому бывалому солдату.

Расков взглянул на часы и тихо сказал:

— Время!

Кузьмич вытащил из кармана трубку, набил ее табаком и с наслаждением затянулся. Поспешно стали закуривать и бойцы, кто папиросу, кто «козью ножку».

Расков был уверен в своих бойцах. Смысл приказа — «Ни шагу назад!» — дошел до сознания бойцов. Один из них после прочтения приказа сказал, выражая настроение всех: «Я так понимаю: отступить сейчас это значит предать свой народ, свою семью, своих товарищей!» А когда Расков напомнил бойцам о приближающейся 25-й годовщине Октября, молодой доброволец прочитал звонко:

Хочешь наш праздник великий отметить,
Пули единой не выпусти зря.
Так нам велит наша Родина встретить
Нынешний день Октября.

...Расков выглянул из-за бруствера.

Кругом стелилась степь. В былое время в эту пору по ней среди хлебов плыли комбайны. Автомашины по степным дорогам мчали зерно. Слышались звонкие девичьи го-



лоса, веселые песни. Степь была как степь. Она пахла хлебом. А теперь лежала почерневшая, состарившаяся от горького дыма. За дни войны она много повидала. Еще совсем недавно здесь сражались пулеметчики роты Рубена Руиса Ибаррури — сына легендарной Пасионарии. Юноша из далекой страны, для которого Советский Союз стал второй родиной. Пулеметчики преградили путь бронированному врагу. Но Рубен погиб.

Сегодня многое зависело и от него, Ивана Раскова.

Было без трех девять. Три минуты! Как это мало в обычной мирной жизни! А на войне это много. Очень много. 180 секунд! Сто восемьдесят раз смерть может заглянуть в глаза.

По человеческим законам вся жизнь лейтенанта еще была впереди. Ведь он только начинал ее.

Шел девятнадцатый год жизни Раскова и девятнадцатый день его пребывания на фронте.

Девятнадцать лет он смотрел жизни в глаза, она вела его за собой, большая, крылатая, как мечта. Девятнадцать дней смерть смотрит ему в глаза. Девятнадцать лет потребовалось, чтобы он стал юношей. За девятнадцать фронтовых дней он стал мужчиной.

Родина раньше ему казалась необъятной, на ее просторах уместались города и села, степи и горы, моря и реки. А на фронте он видел Родину рядом с собою. Он видел ее во всем, что окружало его, в большом и малом: от бескрайней степи до тех крохотных пядей земли, что защищал он своим телом, в этом клене. Родина жила в нем, в его сердце. Судьба ее зависела от него так же, как и от других...

Над головой взвилась зеленая ракета, за ней другая, третья. И в ту же минуту по траншее пролетела команда:

— Подготовиться к атаке!

Донская степь во многих местах перерезана оврагами и балками. Но там, где окопалась рота Раскова, она была совсем ровной.

В шагах ста от траншеи стоял подбитый немецкий танк.

Надо было бежать к нему сквозь ураганный огонь, под градом осколков, по земле, дрожащей от взрывов, на которой негде укрыться от свинцового ливня.

По команде «В атаку — вперед!» бойцы начали выскакивать из траншеи и заняли свои места в цепи наступающих. Но тут случилось непредвиденное. Подбитый танк словно проснулся. Он изрыгал пламя, сеял свинцовый смерч. Стрелки залегли. Тогда открыли огонь бронебойщики.

Первый залп, второй...

Наконец танк смолк. Но гитлеровцы тут же пошли в контратаку.

Вздыбленная земля сотрясалась от разрывов снарядов и мин, на ней бушевал огонь и дым. Она рвалась на куски, гудела, стонала.

Все вокруг — и земля и небо — смешалось, объято пламенем, окутанное копотью. Все тонуло в оглушительном грохоте. Казалось, в степи живому человеку нет места. Бойцы вжались в землю.

Но ждать было нельзя. Бой мог сорваться. Бой, который так много решал. Бой, который надо было во что бы то ни стало выиграть. Единственно правильным был решительный бросок вперед. Следовало проскочить сквозь зону огня, выйти из нее и сблизиться с противником.

Это понимал лейтенант, за спиной которого было военное училище. Так учит устав, так объяснял капитан, преподаватель тактики, так рекомендует армейская газета. И все это было ясным, нетрудным в классе, на учебных занятиях, в статье...

Расков оглянулся. Кузьмич в упор глядел на лейтенанта. Но не так, как обычно — колко, а ласково, по-отцовски, как тогда, когда говорил: «А ежели за песней да командир поскачет на лихом коне, тикай Врангель!»

Да, тут нужен был личный пример командира: «Делай, как я!» Надо было первому шагнуть на пылающую землю, навстречу шквальному огню.

Расков понял: пробил его час.

Как в училище перед смотром, он выпрямился, высокий, широкоплечий, рывком выправил складки на гимнастерке, выхватил из кобуры пистолет и с призывом: «За мной, за Родину! Ура-а!» — быстро побежал вперед.

* * *

И первое, что он увидел, — это клен. Лейтенанту показалось, что дерево как-то особенно, взволнованно машет своими ветвями, словно старается его подбодрить: «Смелее, смелее! Жизнь сильнее смерти!»

Он бросился в это скопление огня и дыма. В лицо хлестнула тугая, накаленная струя воздуха. Большой ком земли больно ударил в грудь. От неожиданности Расков пошатнулся, но, на мгновение остановившись, снова стремительно побежал навстречу свинцовому ливню. Сделав несколько шагов, он упал на землю, и тут же впереди него прижался к земле Кузьмич.

Шквальный огонь противника словно пришил бойцов к земле. Казалось, никакая сила не сможет поднять людей в атаку. Расков рывком оторвался от земли и пробежал вперед, призывно размахивая пистолетом. За ним бросились Кузьмич и комсорг.

Расков повернулся лицом к своим, хотел что-то крикнуть. Но поле словно вздыбилось перед ним, с блеском и грохотом раскололось. Никогда в жизни не видел Расков

такого ослепительного снопа пламени и никогда не слышал такого сильного взрыва. Его свалило на землю. Секунду он лежал недвижимо. Потом шевельнулся и почувствовал, что правым глазом ничего не видит — заплыл. С лица и груди стекала кровь.

Он попробовал приподняться. С трудом это ему удалось. Значит, не все! Нет!

Он привстал и снова крикнул бойцам:

— За мной!

Но ему лишь казалось, что он кричит. Кричать он уже не мог. Лицо его разрывала дикая боль. Некоторое время он лежал, ничего не слыша, ничего не различая, а когда очнулся, увидел, как мимо него промчались бойцы. Сквозь грохот снарядов и свист пуль по полю катилось:

— За Родину! Ура!

А ведь огонь был, пожалуй, сильнее, чем несколько минут назад. Но люди стремительно мчались вперед, неудержимые, накаленные.

Пример командира! Кровь товарища!

Он снова приподнял голову. Вначале чуть-чуть, потом все выше, выше. Он увидел, как гитлеровцы выбежали из траншеи, а его бойцы погнались за ними. И радость овладела лейтенантом. Бой выигран, выигран! Надо и ему туда, куда звал бойцов.

Расков приподнялся и увидел Кузьмича. Тот лежал в луже крови.

Расков подполз к нему.

— Кузьмич!

Боец открыл глаза, мутные, не его. Потом зашептал:

— Не обессудь, что тебя наперед звал. Думаешь, сам трусил первым бежать? Нет. Боялся, ребята за мной не пойдут.

И совсем тихо:

— Впереди лег. Хотел тебя от пули сберечь. Не вышло. Так что не взыщи...

Он смолк. Расков осторожно пошевелил его за плечо, но Кузьмич молча смотрел на него стеклянными глазами. Взгляд его вдруг стал ясным, чистым, каким тогда был в траншее. И казалось, как тогда, он говорит: «Меня, браток, не проведешь, человек для песни рожден. Помирать буду, а все одно так скажу».

Сознание Раскова мутилось. Жила одна мысль: «Вынести отсюда Кузьмича, спасти». И, не соображая, что делает, как в бреду, Расков подхватил бойца под мышки и ползком поволок за собой. Кровь стекала с лица лейтенанта, и сил уже у него не было.

Он приподнялся, чтобы ловчее взять бойца, но удар в грудь опрокинул Раскова.

Встать он уже не смог.

Одним глазом он глядел в небо. Оно распласталось над ним, бескрайнее, чистое. Даже дым и копоть боя не затмили его. Небо было таким голубым, каким Расков его видел только в детстве. Оно напоминало родные края, мать... Он лежал и глядел в небо, а земля вокруг него по-прежнему грохотала.

Сквозь гул и грохот он хорошо слышал тихий девичий голос:

— Лейтенант, это вы?

Валя Гончарова... Медицинская сестра. Слезы текли по ее лицу, крупные, тяжелые и очень светлые. Но почему она его сразу не узнала? И почему плачет?

Девушка наклонилась и поцеловала Раскова в лоб. Что с нею?

Он попытался спросить ее об этом, но не сумел. Да, говорить он совсем не мог.

Она подняла его голову, хотела забинтовать, но Расков отстранил ее. Он указал на рядом лежащего Кузьмича.

Девушка наклонилась над бойцом и, словно боясь потревожить его, прошептала Раскову:

— Он убит.

Лейтенант застонал. Сознание снова помутилось. Он очнулся от внезапно вспыхнувшей, но тут же потерянной мысли. Девушка бинтовала ему голову, а он мучительно думал о том, что ей хотел сказать. И наконец вспомнил: она бинтует под огнем и слишком подняла голову. Надо предупредить ее.

Но как это сделать, когда не может сказать ни слова? Напрягаясь, он приподнялся, чтобы заслонить ее, и тут же у самого виска девушки просвистела пуля. Рука сестры обмякла и сползла с его головы. Девушка медленно опустилась на траву.

— Валя! Валечка!

И опять провал. Потеря сознания.

Его снова привел в сознание женский голос. К нему подползла медсестра Вера Горбунова и продолжала начатую Валею перевязку. Затем Вера помогла ему лечь на плащ-палатку и потащила в санроту. Шаг за шагом...

Очнулся Расков от грохота взрыва. В следующее мгновение он увидел кровь на гимнастерке Веры. Превозмогая боль, от которой мутилось сознание, он приподнялся и пополз в санроту, подтягивая за собой плащ-палатку, на которую он уложил девушку.

Земля качалась под ним, словно палуба корабля в сильный шторм. То поднималась, заслоняя небо, то проваливалась, и Расков вместе с нею летел в пропасть. Потом приходил в себя и снова полз, думая об одном: «Спасти девушку». Он часто припадал к земле, чтобы отдышаться. И снова полз...

Все эти воспоминания ярко вставали перед мысленным взором Раскова, будто раскручивалась кинолента его жизни. Он заново переживал все когда-то пережитое...

ИСПЫТАНИЕ

Огонь, нестерпимый, пылающий... Огненные языки лижут лицо, грудь, голову. Огонь душит. Нечем дышать. Внутри все горит. Воды, дайте воды!

Где он?

Щель. Значит, рядом передовая. Это грохочет канонада. Приподнял голову, осмотрел себя. Он окутан бинтами весь до пояса. Где гимнастерка? В ней комсомольский билет!

Расков забывает об огне, о воде, обо всем.

Невольный стон вырывается из глубины бинта. Подходит санитар, хмурый, небритый. И молча смотрит.

Расков с трудом поднял бледную дрожащую руку и показал туда, где был левый карман гимнастерки. Санитар понял: комсомольский билет.



— Целехонек. В карман ваших брюк положил. Вот он. Смотрите: геройский. В крови. Детипкам показывать будете.

Расков дотронулся рукой до того места, где у него должен быть рот: «Пить!»

Санитар понял, протянул ему кружку. Расков льет воду туда, где рот. Бинты становятся влажными, но распухший язык не ворочается и воды не пропускает. А жажда мучит. Хоть бы каплю воды! И дышать нечем. Он силится подняться, но не может.

Откуда-то издалека доносятся приглушенные голоса.

— Вот как случилось: трах и половины лица нет. Грудь всю разворотило.

— Выживет?

— Может, и выживет. Да что за жизнь у него будет?

«О ком разговор? — думает Расков. — А это, наверно, очень страшно: нет половины лица. Не из нашего ли полка? Спросить бы?»

Но говорить он не может. И снова все уплывает в тумане. И снова издалека доносится голос:

— Кто это?

Расков сразу, словно от толчка, очнулся. Голос знакомый. Кто же? Неужели командир дивизии Гуртьев? Да, он.

Санитар доложил полковнику: это помощник командира роты противотанковых ружей лейтенант Расков. И тихо:

— Шибко тяжелый.

— Расков? Герой сегодняшнего боя? Но почему он лежит здесь? Почему не отправляете в медсанбат?

— Да всех туда зараз разве перевезешь? Транспорта не хватает. Мы наперед тех отправляем, на кого надежда есть. А этот... Ему, видать, уже все равно, что там, что тут.

Он сказал это почти шепотом, но Расков услышал и заметался, застонал.

Очнулся от твердого голоса комдива:

— Опрокинутый вагон видите? Там, у насыпи, окопались саперы. Бегите, передайте мое приказание: коня в упряжке сюда, незамедлительно везите раненого в медсанбат. Это герой.

— Слушаюсь, товарищ полковник!

* * *

И опять забытье.

Расков стоит перед полковником, высокий, стройный, широкоплечий. Недаром в училище все говорили, что у курсанта Раскова прекрасная военная выправка. Леонтий Николаевич Гуртьев — начальник Омского пехотного училища — приказывает Раскову:

— Вы будете формировать роту!

— Слушаюсь, товарищ полковник! — отвечает Расков.

Он смотрит с удивлением: перед ним не полковник, а его мать. В телогрейке и башмаках, усталая: всю ночь она шла по тайге, чтобы проститься с ним: «Ты зачем здесь, мама? Вернись домой, здесь фронт!» — кричит Расков. «И совсем не фронт, сыночек, ты еще на учениях», — говорит она. И в самом деле: новобранцы-бронбойщики окружают своего командира. Молодые парни. И какие! Богатыри! Как на подбор. И только один из них с усами вразлет и проседью — Кузьмич! Но он не отстает. Вместе со всеми старательно учится. Смотрите, как они форсируют Иртыш, как окружают ипподром, штурмом берут кирпичный завод, овощехранилище! Слышите? Их строевой шаг раздается на улицах Омска. Учеба! Их всему учили: и политике, и тактике, и технике, и строевому делу. Их все учили: и взводные, и ротные, и командиры полков, и политруки, и комиссары.

«Так дайте же слово Кузьмичу, бывалому солдату!» —

кричит Расков. Он много толкового расскажет молодым. Как громил Врангеля, как в войну гражданскую танки голыми руками брал. Пусть бойцы крепче любят свое оружие, пусть больше ценят то, что имеют, и пусть поклонятся Кузьмичу за помощь, за науку. Пусть он вам про песню расскажет и про командира, что мчится впереди своего войска на белом коне.

Чудится Раскову, что издалека, поднимая придорожную пыль, скачет командир на белой лошади.

Расков вглядывается. Ведь это мчится майор Савкин, командир полка, любимец бойцов. Во время учений это — сигнал тревоги! Чье подразделение покажет лучшую готовность? Конечно, рота, сформированная Расковым. Майор едва успеет проскакать вдоль полка, как рота противотанковых ружей выстроится в полной боевой готовности. Он уже мчится сюда. Скорее, бойцы, скорее! Белая лошадь ярится. Глаза — звезды, ноздри раздулись, дышат огнем, как на верещагинских картинах. Огромная, сильная...

Но куда она исчезла? Почему рядом гнедая лошадь, понурая? И зачем ее запрягли в двуколку? Ах, это не плац под Омском. Здесь передовая...

— Подымай носилки, да смотри, аккуратнее, — говорит санитар.

Носилки качнулись. Дикая боль, и все опять уплыло в тишину и густой туман. Издалека, замирая, доносится женский голос:

— Осторожнее!

* * *

Это говорит мать Раскова. «Осторожнее!» Опять она. «Вернись, мама! Здесь опасно!» — кричит Расков. Она нехотя уходит. Все застилает качающееся небо. Это Раскова на двуколке везут в госпиталь. Нет, это совсем не то. Он в эшелоне. Его полк отправляется из Омска на фронт.

За окном проплывают города, села, леса, горы, реки, степи... До чего велика, до чего богата наша страна! Едут солдаты и любуются ею. И чувствует Расков, что с приближением к фронту накаляется ярость бойцов против гитлеровских захватчиков. Но почему шум в вагоне? Происшествие. Единственное за весь дальний путь дивизии на фронт. Боец в тамбуре заснул. Винтовка упала на насыпь. Он выпрыгнул из вагона и бежал за составом, чтобы исправить свой промах. «Быстрее! Быстрее!» — кричат ему солдаты. «И чего кричат? — думает Расков. — Надо идти, соблюдая тишину. Не следует ни курить, ни кричать! Фронт недалеко». Ночь. Нет эшелона. Дивизия уже на марше. Из вагонов высадились в темноте за двести километров от фронта. Расков смотрит на бронбойщиков. Им нелегко. По двое на плечах несут противотанковое ружье. Плечи потерты, но никто не просит, чтобы его заменили. Сибиряки!

Но куда исчезла ночь и почему идут днем? Над строем вражеские самолеты. Они сбрасывают бомбы. А дивизия идет, идет... Надо спешить. Майор Савкин созвал командиров и сообщил: «Дивизия, которую мы сменяем, почти полностью выбыла из строя. Мы должны немедленно прикрыть фронт». Вот почему идут не только ночью, но и днем.

Степь, сушь, безводье... Люди изнемогают. Слышится команда: «Кому трудно, держись за повозку». Но ни один боец к повозкам не подошел.

Солнце жжет, в горле пересохло... Воды! Хоть бы один глоточек!

— Воды, дайте воды!

Расков мечется на двуколке. Все в нем горит. Боль заставляет очнуться. Над ним звездное небо. Значит, они ехали весь день. Вот уже ночь, а дороге конца нет. Едут медленно, чтобы его не трясло. И все-таки трясет. А вот подбросило — видно, колесо наскочило на кочку. Он засто-

нал. Санитар наклонился над ним. Расков видит в темноте морщинистое усталое лицо. Наклонилось над ним и исчезло.

Слышится хриплый голос:

— И зачем возьмем его? В госпитале и без него хватит. К чему зазря человека мучить, таскать по кочкам?

— Он еще, может, нас с тобой переживет, — резко возражает молодой женский голос. — Знаешь, говорят: трус и от царапины умирает, а сильный и от разрывной пули выживает.

— А я что? Пускай себе живет на здоровье. Я ему только добра желаю.

— Бронебойщики — народ крепкий. Выдюжит, — говорит женский голос и замирает.

«Бронебойщики — народ крепкий», — повторяет Расков, а потом, обращаясь к бойцам: «Надо любить наше оружие, с ним можно творить чудеса. Настоящему бронебойщику не страшен не только танк, но и самолет противника. Не верите? Вот вчера лейтенант Борис Шонин точно из такого ружья, как у тебя, сержант Пилипец, как у тебя, рядовой Фефилов, сбил фашистский самолет. Сегодня подвиг Шонина повторил старший лейтенант Игорь Мирохин». Расков рассказывает о подвигах однополчан и призывает свою роту бить по фашистским стервятникам точно, без промаха. Какая радость видеть, как вражеская стальная машина, которая только что сеяла смерть, горит, летит вниз, тянет за собой черный хвост дыма, а потом с грохотом взрывается! Какая радость превратить вражескую машину в ничто! Видеть, что ты сильнее ее!

...Двуколка остановилась.

— Думал, не доведу, — кому-то говорит санитар. — Герой. Атаку начали, а никто из окопа выскочить не решился. Огонь был — жуть. А он поднялся и пошел. И все за ним. И бой выиграли. И какой!..

Кто-то наклонился над лейтенантом, прислушался к

дыханию, взял руку и долго прощупывал пульс. А потом тихо сказал:

— Хрипит уже. И пульса нет. Считай, конец.

— И я так думал, — ответил санитар. — И чего везли? Только зря человека мучили. И какого человека!

Санитар повернул двуколку и направился обратно в дивизию.

— Довез! — доложил он. — Еще дышал. Только уже хрипел. Кончался. Стало быть, отжил свое. Жалко парня. Герой был.

Этот короткий рассказ санитаря облетел дивизию.

Так родилась легенда о том, что в боях за Сталинград 21 сентября 1942 года погиб лейтенант Иван Расков...

А Расков слышал, как двуколка повернула и ушла, помнит, что его куда-то несли и он задышался.

А за жизнь Раскова началась борьба.

Врач с силой вытянул язык, проколол и продернул в него шелковую нитку. Сестра держала за эту нитку язык Раскова, чтобы, пока врач делал операцию, в легкие больного проходил воздух. Из груди лейтенанта вынули осколок мины, пулю и зуб, загнанный в легкое осколком.

— Н-да! — протянул хирург, покачав головой, и распорядился: — Положить в отдельную палату!

...Мерно постукивают колеса санитарного поезда.

Жжет лицо, грудь. Пить! Сколько дней он уже не пил. Пять дней, шесть, семь? Нет, восемь. Да, да, восемь дней у него во рту не было ни капли воды.

Поезд затормозил, вагон дернулся и остановился.

Послышались голоса. Много голосов. Стариковские, бабы, ребячьи...

— Арбузик возьми!

— Помидорчики любишь?

— А может, кто картошечки хочет? Или огурчик? Вы не стесняйтесь. Все ведь свое. Сами растили.

Это колхозники... Вот так на каждой станции люди встречают эшелоны раненых.

В вагоне пахнет ароматными овощами, домашним рас-соллом, свежим хлебом. А у Раскова все распухло: язык, нёбо. Сколько дней может человек прожить без воды?

Хотя бы глоток. Один глоточек. Все жжет в груди. Все пересохло. Один бы глоток.

Превозмогая боль, лейтенант с трудом поднимается и, шатаясь, выходит из вагона.

У водокачки огромным шлангом машинист наливает в паровоз воду. Не задумываясь, Расков подходит туда. Ложится. Кладет голову на рельсу и, раскрывая в бинтах щель, которая ему заменяет рот, показывает на нее рабочему. Тот понимает его. Направляет из шланга тонкую струю. Вода обливает голову, бинты. А рот остается сухой. Ни капли не попало.

Расков поднимается. Что делать? К врачу? Чем он может? И потом: в поезде так много тяжелораненых, многие от боли стонут, кричат...

Что же делать?

Он бредет по путям. Справа у станции палисадник, густо засаженный кустарником. В глубине домик. Белые занавески. Герань. Все это ему хорошо знакомо. Давно пережитое. Так давно, что даже не верится, было ли это.

А что, если зайти? Может быть, ему все-таки удастся глотнуть воды?

Постучал. Тихо стукнула щеколда, дверь открылась, выглянуло женское лицо. И тут же дверь захлопнулась.

Что случилось? Расков удивленно постоял у порога и хотел было повернуть, но дверь снова приоткрылась и выглянуло то же лицо.

— Прости, касатик. С испугу я. Заходи. Чем богата — милости прошу.

Он шагнул в сени, прошел в хату и оглянулся. В углу стояло ведро. Расков показал на него рукой.

Хозяйка торопливо зачерпнула кружкой воды и протянула ее лейтенанту:

— Пей, миленький!

Он забросил голову далеко назад и начал лить воду между бинтами. Вода потекла по шее и груди. А рот оставался сухим.

Расков вернул хозяйке кружку и присел к столу. Надо было уходить. А уходить не хотелось. Хоть минуту погреться, почувствовать тепло жилого дома, какого он давно не видел. Взгляд его невольно скользил по комнате. Ему здесь все знакомо. Русская печь с белой занавеской, кровать с горкой подушек, покрытых тюлевой накидкой, пожелтевшие фотографии на стене. Как дома. И даже комод такой же. И как дома на нем зеркало. Зеркало? Да, да, обыкновенное зеркало. Расков не мог отвести глаз. С тех пор как его ранило, Расков ни разу не видел своего лица. Он искал зеркало и не мог найти. В вагоне один из молодых бойцов сказал:

— Тебе зеркало? У меня в вещевом мешке есть. Сейчас достану.

Но другой солдат, постарше, толкнул его в бок, толкнул грубо, так, что Расков заметил. Паренек сник. Рука его застыла в вещевом мешке, где лежали зеркало и бритва.

— И куда я его задевал? — не глядя на Раскова, протянул он. — Небось потерял. Экая досада. Так что не обесчудь, лейтенант, нема зеркала.

Расков понял: ребята не хотят, чтобы он увидел свое лицо.

Он пробовал прощупать ладонью, что случилось с его лицом. Но малейшее прикосновение причиняло мучительную боль.

И вот наконец зеркало. Он может узнать правду. Он

жестом попросил хозяйку дать ему зеркало. Женщина растерялась, не зная, как ей поступить.

Тогда он быстро поднялся, подошел к комоду, схватил зеркало и тут же сдернул бинты.

И отпрянул... Так же, как эта женщина, когда увидела его. Он глядел в зеркало и не верил себе. На него смотрело страшное, изуродованное лицо. Вместо щеки зияла рана с ладонь.

«Не может быть. Этого не может быть».

Ему казалось, что он видит кошмарный сон, который вот сейчас кончится. Он смотрел и ждал, когда тяжелое видение исчезнет.

А оно то расплывалось и уходило далеко, то вплотную приближалось. Но не исчезало, нет!

И Расков понял, что оно не исчезнет. Это его лицо. Стало быть, это о нем говорил санитар: «Половины лица нет. Может, и выживет, да что за жизнь у него будет?»

Да, да, как жить с таким лицом, от которого люди будут шарахаться, как эта женщина. Зачем жить с лицом, которое будет пугать людей?

Горница покрылась густым серым туманом и стала уходить от него. И только лицо, глядевшее на него из зеркала, в тумане маячило перед ним. Чужое лицо, с которым он теперь должен жить.

Он вздернул руки и, казалось ему, закричал:

— Не надо! Я не хочу этого!

Но из разорванного рта вырвались лишь хриплые, kloчущие звуки.

Женщина закричала, когда увидела, как парень выронил зеркало и рухнул на пол. Она звала людей на помощь. А потом, видимо, поняла, что в эти минуты он пережил, смолкла и поспешила за водой, всхлипывая и причитая.

...Белая луна, белые здания, белые стены у постели.

Белое сновидение. Оно плыло в тишине ночи над городом, бродило по улицам, бульварам, паркам.

И даже в безлунную ночь оно наполняло белую палату. Сидело у постели до утра, и не было от него спасения.

И так каждую ночь.

Хотя бы на час уснуть.

Расков закрывал глаза. Белые ночные тени исчезали.

Но мучительно вспоминалось прошлое.

Он стал часто думать о своей жизни. В такие минуты он чувствовал, что где-то, в самом тайнике его сердца, клокочут слезы, клокочут безудержно, безутешно.

Жизнь ему казалась переломленной надвое. Одна половина сильная, красивая, осталась по ту сторону сентябрьского дня, осталась навсегда, и возврата к ней нет. Другая, изуродованная, досталась ему и будет с ним до конца. И никуда от нее не уйти.

Но тогда стоит ли жить?

Он зарывался в подушку и вспоминал только то, что было раньше, до того дня... Оно казалось ему таким далеким, далеким. Он старался ярче воскресить в памяти радость далеких лет, мечты юности, веру в жизнь, ее светлую беззаботность.

Только теперь он понял, как хороша жизнь.

Он так часто стал вспоминать прошлое, что ему однажды приснилось, будто того сентябрьского дня не было. Да, да, вообще не было. Все казалось таким реальным, что он даже во сне подумал: значит, и мина, и разорванное лицо — все было кошмарным сном, долгим, мучительным. И вот он кончился. И безумная радость охватила его. Ему захотелось петь, кричать от восторга. Он даже попытался открыть рот... Но от жгучей боли он проснулся. Увидел бе-

люю палату. Нет, значит, все это правда. Он застонал громко, на всю палату. Никакие боли — при ранении, операциях, перевязках — не вызывали таких его стонов (врачи поражались его силе), как этот, вызванный другой болью — душевной, мучительной, безысходной.

В палате многие проснулись и с удивлением уставились на него. А сосед по койке спросил:

— Что тебе, Ваня, очень плохо?

Расков не ответил. Он никогда никому об этом сне не рассказывал. Никто не слышал от него жалоб. Его всегда видели бодрым, и о нем отзывались коротко:

— Железный парень!

А Расков в ответ горько усмехался. Только он знал правду: чего стоила ему бодрость на людях. Ведь только он видел этот сон о себе, который никто, кроме него, видеть не мог и который стал повторяться из ночи в ночь, из ночи в ночь... Пройдет много лет, а Расков будет видеть один и тот же сон: сентябрьского того дня не было и ничего, связанного с ним, не случилось. Он уже и во сне будет понимать, что это сон, и не захочет просыпаться.

Но сны как сны. Они приходили и уходили, а жизнь оставалась.

Жизнь, переломленная надвое.

По ночам Расков подолгу лежал с открытыми глазами и думал о ней. Что хорошего осталось ему в жизни? Люди сражаются. Решается битва за Сталинград. А он лежит в госпитале бессильный. А потом, когда он вернется домой израненным, что в силах он будет там делать? Что ждет его впереди? Сон бежал от него.

Иногда Раскову чудилось, что это мать, почему-то окутанная в белое, садится у его изголовья. Тогда он начинал ей рассказывать обо всем, что случилось. «Я понимаю, мама, люди живут по-разному. И конечно, я сознаю, что надо быть сильным человеком. Но скажи мне, мама, где

взять силы, чтобы жить с таким лицом? Как буду жить дальше таким? Я знаю, ты скажешь: «Ванюша, ты мне и такой хорош будешь». Помнишь, ты так говорила, когда я уходил на фронт. Словно чуяла. Верю: тебе буду хорош. А другим? Хотя бы не всем, а той, у которой обязательно должны быть голубые глаза? Ведь я еще молод. Как в 19 лет я с таким лицом жить буду, скажи мне, как?» Надо бы матери послать письмо. Но как об этом написать? Лгать? Пробовал. Не получается. Рвал письма. Пусть думает, что пропал без вести. Он ведь сам долгое время не был уверен, что останется в живых.

И об этом он ей рассказал, когда в одну из бессонных ночей в его мыслях она пришла к нему. Он бормотал, бормотал... Говорить он не мог. Но он был уверен, что мать поняла бы его с полуслова. Даже без слов.

— Ты слышишь меня, мама? Это я, Ванюша. Узнала меня? Тут много раненных в лицо. Вся палата. Иные совсем помрачнели. Другие говорят: «Ничего. Водка любое горе зальет!»

Он зарылся в подушку, долго лежал недвижимо. Потом встал и пошел в курилку.

Курить он не мог. Не знал как... Как обычно, через рот, курить нельзя было. Да и не только курить! Он не мог сидя есть. А ел лежа, чтобы не надо было ртом пользоваться. Ложился на спину, на грудь ставил тарелку, одной рукой держал ее, а другой вливал жидкость прямо в горло.

Но как, не имея рта, курить? Он увидел, как курит солдат с оторванной челюстью: через нос. Но у Раскова и нос был поврежден.

Он зашел в курилку, закрутил сигарку, вставил ее в надорванную ноздрю. Чиркнул спичку. Поджег. Затянулся через нос жадно, жадно.

Закружилась голова. Стало чуть полегче на сердце. И мысль немного успокоилась. Маленькая капля радости

коснулась его: вот еще что-то, что делают другие, здоровые люди, он может делать. Может быть, к нему вернется все, что он потерял? Может быть, вернется, если вот так он возьмет себя в руки. Если хватит у него сил.

Должно хватить. Мать у него — воловая женщина. Она ведь тоже смогла осилить тяжелый недуг и встать на ноги, когда все говорили: «Александра — конченный человек».

Расков хотел быть таким, как его мать.

Ее образ жил с ним и на войне.

Ему не раз вспоминалась таежная тропа и мать, провожающая новобранцев ... Она ласково оглядывает их и тихо говорит: «Счастливо, сыночки». И с той поры в каждом, кто делил с Расковым тяготы фронтовой дороги, кто вместе с ним радовался, вместе шел на смерть, он видел каплю любви своей матери. Они стали близкими ему.

Расков крутил сигарку за сигаркой. И курил, курил... Ему казалось, что комната наполняется не табачным, а пороховым дымом. И вспышки сигарки, отраженные в темном окне, — это зарницы далеких взрывов. А вот уже слышен гром канонады, все сильнее и сильнее. Сквозь него прорывается лязг гусениц и выстрелы больших ружей. Все вокруг грохочет, все сотрясается, все в огне...

Так было рядом с ним совсем недавно. А люди сквозь все проходили. И думали не о смерти, нет. Смерть шагала рядом с ними, а они думали о жизни и шли навстречу ей. И если умирали — для нее, во имя жизни.

Заместитель командира полка Петраков послал письмо дочке Людочке, в которое вложил синенький цветок. Слово кусочек неба послал он в конверте. «Моя черноглазая Мила! — писал он. — Посылаю тебе василек... Представь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок... И вдруг очередной взрыв... Василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки».

Сквозь огонь и смерть он разглядел и прижал к сердцу цветочек — каплю жизни. Вот он, советский воин!

Расков вспоминает худенькую девушку с голубыми глазами, Валию Гончарову. В последний вечер перед боем она тоже говорила о жизни. Она хотела петь, танцевать, быть счастливой. «А если меня не будет — пусть другие радуются жизни», — говорила она.

Через несколько часов ее не стало.

Нет ее, этой чудесной девушки. Но слова ее запали в его сердце. И никогда не умрут.

Расков припоминает рассказ о комсомольском собрании, который он слышал в госпитале. На собрании говорили о том, что такое героизм. И вдруг боевая тревога: «В бой». Назавтра снова собрались комсомольцы. Командир роты оглядел всех: кое-кого из тех, что были накануне, уже не было. «Так на чем мы остановились?» — тихо спросил он. Один из бойцов ответил: «Вас спросили: кого можно назвать героем?» Командир огляделся: того, кто задавал вчера этот вопрос, не оказалось. «Герой тот, — тихо сказал он, — кто умно и храбро умер, приблизив день победы. Почтим их память, товарищи!» Бойцы молча поднялись. «Садитесь, — выждав минуту молчания, сказал командир роты. — Да, — продолжал он, — герой тот, кто отдал свою жизнь за Родину. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остаться живым».

...Расков крутит сигарку и снова закуривает...

Конечно, если жить только для себя и думать только о себе, тогда можно задать вопрос: как с таким ранением жить дальше и стоит ли в таком случае жить?

Из сумрака снова на него глядят глаза Вали Гончаровой. Глядят пристально, настороженно, словно сквозь дни, что отделяли его от них, спрашивают: «А ты какой парень, Расков? О себе ли только думаешь, для себя ли только живешь? Мы воевали за жизнь. Уж не откажешься

ли ты от нее? Хватит ли у тебя сил жить с таким ранением и делать жизнь вокруг себя еще красивее, еще богаче и ярче? Впрок ли тебе пошла школа, которую ты прошел в семье, на фронте, что вышел ты из среды изумительных людей гуртьевской дивизии? Впрок ли?»

В упор глядят на него и ждут ответа. Ясные, чистые, голубые. Да, да, глаза смотрят на него, совсем живые...

— Лейтенант Расков, вы почему ночью в курилке? Вам нельзя курить!

Перед ним стояла старшая медицинская сестра госпиталя, которую тоже зовут Валей. Это ее голубые глаза в упор смотрят на него.

Он качнулся к ней:

— А что мне можно? Без лица жить можно?

Она отвернулась:

— Не понимаю, что вы говорите.

И горечь раздумий снова вернулась к нему. Люди даже не смогут понять, что он говорит, и, как она, станут отворачиваться от него...

— Идите спать, Расков,— сказала сестра.

Она еще что-то хотела добавить, но вдруг щелкнул репродуктор, который забыли выключить, и послышался хорошо знакомый голос Юрия Левитана: «Говорит Москва! Говорит Москва!»

И по той торжественности, с которой диктор произнес эти слова, Расков понял: произошло что-то особенное.

Не под Сталинградом ли? Ведь там сейчас решалась судьба войны, судьба Родины. Сообщения оттуда вся страна ловила с особым волнением. А в госпитале больные тайно от сестер по ночам подбирались к репродукторам, чтобы послушать последние известия.

На удивление сегодня почему-то никого здесь не было, кроме Раскова. Но именно сегодня произошло что-то особенное.

Расков подбежал к репродуктору. Валя стояла рядом с ним. Слова диктора заставили их застыть:

«От Советского Информбюро.

Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломали сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 г. историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск».

Победа после шести с половиной месяцев кровопролитных боев! Мировая история войн не знала таких сражений. Здесь враг лишился больше четверти своих войск, которые действовали на советско-германском фронте. Это, конечно, подорвало его военную мощь. Раненый зверь уже больше не смог восстановить былые силы и утратил стратегическую инициативу. Произошел коренной перелом в ходе войны.

В этой битве славную роль сыграли сибиряки. Они стояли на направлении главного удара. За двое суток они совершили неслыханное: двухсоткилометровый марш, прорвались сквозь донскую степь, заняли оборону у завода «Баррикады» в центре промышленного района Сталинграда. Они пришли туда ночью, вскрыли асфальт, выкопали окопы, блиндажи, ходы сообщения, в стенах зданий пробили амбразуры. И к утру завод стал неприступной крепостью.

На северную часть, где располагался завод, гитлеровцы обрушили всю силу артиллерийского и минометного огня. Туда бросали тучи воздушных стервятников, армады бронированных чудовищ. Против защитников волжской твердыни враг использовал пикирующие бомбардировщики с осколочными и фугасными бомбами с воющими сиренами,

тяжелые и огнемётные танки, артиллерию всех калибров, шестиствольные минометы, термитные снаряды, воздушные торпеды, разрывные пули. Против одной сибирской дивизии немцы выставили своих три. Атаки следовали за атакой. В один из напряженнейших дней сибиряки отбили 23 атаки. Над позициями сибиряков часами волна за волной шли «юнкерсы». Рушились камни зданий, плавились, скручивались, рвались стальные конструкции, а люди не отступили. Отступить было некуда, позади темнела студеная Волга. Здесь была судьба России.

И сибиряки выстояли.

Внес и Расков свою долю в победу. И он жадно ловил каждое слово диктора. 91 000 пленных, из них 2500 офицеров, 24 генерала. А дальше шли цифры трофеев: многочисленные цифры взятых у противника самолетов, танков, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автомашин, мотоциклов, тягачей, тракторов, транспортеров, радиостанций, бронепоездов, паровозов, вагонов, складов с боеприпасами и вооружением. Цифры доблести советских воинов...

И когда диктор закончил: «Таков исход одного из самых крупных сражений в истории войн» — и смолк, Расков не смог сдержать своей радости.

Он бежал по коридорам, лестницам и кричал:

— А! А! А! А!

А все его понимали:

— Победа под Сталинградом!

И огромное многоэтажное здание госпиталя всколыхнулось. Сотни раненых вскочили с постелей, они тоже бежали по коридорам, лестницам, чтобы поздравить друзей.

— Победа под Сталинградом!

Они обнимались, целовали друг друга. А старшая сестра Валя совсем забыла о ночном часе, о том, что людям надо отдыхать. Она радовалась вместе со всеми, смеялась и плакала от радости.

Плакали многие. Молодые и убеленные сединой, видевшие смерть и не дрогнувшие перед ней.

И тут вспомнили о Раскове:

— Это он первый узнал. Он нам сказал. Он сам сталинградец. Качать героя Сталинграда.

Они подняли его и начали качать осторожно, как ребенка. А потом бережно опустили и стали обнимать его и целовать. Они целовали его обезображенное лицо, и оно им казалось самым красивым на свете.

А Расков? Он тоже плакал от радости. Ему вдруг вспомнилось то, что было с ним всего полчаса назад. Тяжесть раздумий: стоит ли жить? Как он мог? Разве эти люди когда-нибудь отвернутся от него? Каким ничтожным, мелким было все им только что пережитое в сравнении с океаном радости, которой сейчас охватило всю страну. Надо жить, чтобы людям приносить радость! И даже такой, какой он сейчас, Расков будет дорог людям. Он будет им нужен. Он добьется этого. Ради этого стоит жить. Надо жить!

...Только под утро усталые люди легли спать.

А Расков?

Он забрался в угол палаты, присел к столику и начал писать:

«Здравствуй, маманя! Прости меня за то, что долго не писал». — Он задумался. Вспомнились ему бессонные ночи, когда так хотелось поделиться с кем-то своим горем. Но не решался написать матери: пусть думает, что погиб, чем видеть его таким. Но как рассказать ей о том, что было? Нет, ей лучше этого не знать.

«Так случилось, — продолжал он. — Приеду, расскажу подробно. А сейчас пишу коротко. Жив я, здоров, нахожусь в госпитале потому, что царапнуло меня чуть-чуть. Целы ноги, целы руки, работать смогу. Все будет, как у людей, так что обо мне не беспокойся. Скоро приеду. Целую. Скучающий по тебе твой Ванюшка».

ЧЕЛОВЕК ПОБЕЖДАЕТ



...И бегут, бегут кадры из жизни, его жизни...

За окном вагона плывут леса. То уйдут в бесконечную даль, то стоят стеной у лесной полянки, словно сторожат ее.

Снег потемнел, сжался, лежит твердым настом. Хорошо шагать по нему ранним мартовским утром. Ледяная корка ломается, и под ней снежная крупа хрустит в тишине звонко, сахарно.

Поезд на стыках рельсов отстукивает мерно и четко. По этим ударам можно проверять время. А мысли не хотят подчиняться этому четкому ритму. Они толпятся, тесня одна другую. Сменяются картины воспоминаний, отрывочные, нервные.

Вот недавнее: белая палата, бледные, окутанные

бинтами люди, что садятся у его постели, и от их ласковых слов теплее становится на сердце. Утешался немудреной мечтой о том, что жизнь наладится.

Бодрили вести с фронта. После нашей грандиозной победы под Сталинградом, после недолгого затишья наши войска перешли в наступление под Курском и мастерски, по всем правилам современного военного искусства, провели его.

5 августа 1943 года, ровно через месяц после начала июльского наступления немецко-фашистских захватчиков, советские войска освободили Орел и Белгород. И ночью, когда кремлевские куранты пробили двенадцать, диктор сообщил: «Вы слышите выстрелы... двадцать залпов из 120 орудий. Это столица нашей Родины Москва салютует доблестным советским воинам, которые освободили Орел и Белгород».

В годы Великой Отечественной это был первый салют. С лета 1943 года наши воины стремительно погнали врага все дальше на запад, освобождая новые и новые города и села. Госпиталь бурно отмечал каждую победу.

Но через все это бодрое и радостное прорывалась горечь за собственную судьбу: идут величайшие бои, а ты на госпитальной койке. И будущее — каким оно видится? Калека, малоприспособленный к труду и совершенно неприемлемый в быту, в общении с людьми...

Но вот в один из дней в госпиталь пришли шефы, работницы швейной фабрики. Вошли оживленные, веселые. Одна из них воскликнула:

— Что взгрустнули, ребята? Вот почитайте, какие чудеса медицина делает.

И протянула Раскову журнал «Огонек». Расков полистал страницы, и его взгляд задержался на двух фотографиях: лицо человека, раненное осколком, очень изуродованное. И рядом то же лицо сфотографировано после

операции. Конечно, были заметны швы, но с фотографии смотрело милостивое лицо молодого человека.

У Раскова перехватило дыхание. Он увидел то, о чем мечтал, мечтал в тайне, никому не говоря, мечтал исправить свое лицо.

Здесьние врачи наскоро подправили остатки лица. У него вынули обломки разбитой челюсти, спили нижнюю губу. И все же он с тоской глядел в зеркало. Мало что изменилось.

В госпитале были хорошие врачи. Они делали сотни сложных операций. Но чтобы восстановить живое лицо человека, на котором все человеческое оживает: и горечь страданий, и тихая грусть, и радость улыбки,— для этого нужно было быть ваятелем живого организма.

А есть ли такие хирурги? Где они? Расков много раз задумывался над этим.

И вот такой врач нашелся. Профессор Центрального института травматологии и ортопедии Александр Эдуардович Рауэр. «К нему, немедленно ехать к нему»,— твердо решил Расков. «И я поеду с тобой!» — поддержал его молодой лейтенант Николай, тоже раненный в лицо. Коля (фамилии его Расков не запомнил) был как бы переводчиком: он лучше других понимал нечленораздельную речь Ивана Степановича.

Они подали рапорты начальнику госпиталя с просьбой выписать. Отказ.

— Я настаиваю, чтобы меня выписали,— горячился Расков.— Я хочу ехать к профессору.

— Мало ли кто чего хочет,— вздохнул Николай.— Ты еще не вылечился, какое они имеют право тебя выписывать? За это с них спросят.

— Тогда я сам поеду,— сказал Расков.— Я не хочу ждать. Не могу, понимаешь?

План созрел быстро. По выходным дням давали увольнение в город. Уйти и не вернуться.

Но как получить истории болезни? Комната, где они хранились, на ночь запиралась. Среди многих историй свою не сразу найдешь, а тут надо действовать быстро. Кто поможет?

Своими планами друзья доверительно поделились с Вале́й. Она тихо спросила:

— Но ведь это — побег из госпиталя?

Друзья молчали. Они ждали, что она скажет дальше. А она задумалась.

Их не отпускают из госпиталя потому, что не окончен курс лечения. В направлении к профессору отказывают: «Сами можем исправить лицо».

А они — Расков и Николай — непременно хотят лечиться у Рауэра. Разве не имеют на это права? К тому же две предварительные операции, сделанные Раскову в госпитале, были неудачными. Здесь нет специалистов по пересадке кожи. Расков верит в Рауэра. А ведь говорят: если больной верит доктору, тогда они вдвоем выступают против одного — против недуга.

Валя подумала и тихо сказала:

— Сегодня дверь в перевязочную останется открытой... Истории ваших болезней лежат в синей папке: сверху четвертая и пятая.

За окном вагона леса, леса... Тугой ветер бьет в стекла, холодный, чистый. Колеса отбивают ритм. Расков вспоминает...

Приглушен свет. Тишина в госпитале. Лишь изредка кто-то стонет или невнятно бормочет. И снова тихо, неподвижно кругом. Все сковано ночным сном.

Словно по команде два человека бесшумно поднимаются с постелей и на цыпочках выходят из палаты.

— Иди вниз. Будешь стоять на часах, на случай ноч-

ного обхода,— шепчет Расков Николаю и пробирается к перевязочной.

В голове неотступно одно и то же: «Замкнута ли дверь, где ключ?»

А вот и перевязочная. При тусклом свете он приглядывается к двери. И сердце начинает торопливо биться: ключ торчит в замочной скважине.

Он чуть-чуть приоткрыл дверь, проскользнул в нее неслышно. И к шкафу. Стопки историй болезней. Где тут его и Николая? Найдешь ли второпях? Стопки уложены ровно. И только одна папка немного, едва заметно выдается вперед. Нет, две. Выдергивает из стопки.

«Валя, Валечка, спасибо тебе!» И, как часто бывало в военные годы, подумал: «Увидимся ли с тобою когда-нибудь?»

Снова наступила тишина и сонная неподвижность в палате, словно ничего в ту ночь не случилось.

А наутро, как обычно, два офицера ушли погулять в город.

Два томительных часа на вокзале. С тревогой беглецы вглядывались в каждое лицо: нет ли кого из госпитального начальства? Узнают, вернут... Но вот и часы ожидания позади, и мерно постукивают колеса вагона.

И тут нашлись новые друзья. Тяжело раненных забинтованных офицеров каждый пассажир старался чем-то угостить. А когда Расков ложился на полку, чтобы поесть, и в щель между бинтами вливал из бутылки молоко, люди с сожалением смотрели на него, и в вагоне наступало тягостное молчание. Даже патруль, который был очень требователен ко всем, не спросил у них документов. Постовой милиционер в Москве долго и старательно объяснял, как проехать к институту, где работал Рауэр. Пассажиры в метро торопливо уступали им свои места, а больные,

ждавшие приема, сами настояли, чтобы Расков и его друг попали к профессору без очереди...

А профессор! Он вышел им навстречу. Невысокого роста старичок с седой клинышкой бородкой. Он казался каким-то хилым, и Расков невольно перевел свой взгляд на его руки, подумав: «Руки хирурга должны быть сильные. Видно, крепость им придает сила воли человека».

— Без направления? — недоуменно сказал профессор. — Побег из госпиталя? Но ведь и я буду отвечать, если возьму вас.

Расков заговорил сбивчиво и горячо. Профессор его не понял.

— О чем речь? — спросил он Николая.

— Лейтенант Расков говорит, что вся надежда на вас. Мы хотим скорее вернуться в строй, на фронт.

— Снимите бинты, — сказал профессор.

Он многое повидал на своем веку, но когда взглянул на лицо Раскова, протянул:

— Да-а...

И, подумав, добавил:

— Что ж, лейтенант Расков, будем вместе отвечать. Назавтра, обходя палаты, профессор сказал Раскову:

— Сделаем вам лицо. У вас есть фотография, снятая до ранения?

Расков протянул фотокарточку.

— Увеличить! — распорядился профессор.

Фотографию повесили в операционной рядом с гипсовой маской, снятой с больного.

Ассистент профессор Николай Николаевич Михельсон сказал Раскову:

— Многое в лечении будет зависеть от того, как вы будете держаться. Потребуется большое напряжение. Хва-

тит ли у вас силы воли? Предстоит не одна, и не две, а много операций.

Расков понимал, что будут переставлять на лицо его же куски ткани. Но он твердо сказал:

— Хватит силы воли. Ни единого стопа вы от меня не услышите.

И через два дня в Москве в Теплом переулке хирург-скульптор приступил к делу. Вместо гипса и камня применялась человеческая ткань, каменной глыбой служил сам человек, способный каменеть, переносить страдания и боли, дикие, нечеловеческие, от которых мутилось сознание и, казалось, останавливается сердце.

Расков готов претерпеть все...

— ...Ваш билет, лейтенант?

Расков очнулся. Торопливо сунул пальцы в карман гимнастерки и вытащил проездной документ.

— До Томска? — уточнил контролер. — Домой? Насовсем? — спрашивал он, глядя на забинтованное лицо Раскова.

Тот молча кивнул головой.

Расков снова глядел в окно. В сумеречном раннем свете маячили далекие голубые леса. Хороводом кружились поляны. Торопливо у самых окон проплывали будки стрелочников. И над всем величаво-спокойно разливалась по небу золотистая лазурь весеннего рассвета.

Новый день вставал. Что он принесет Раскову?

Сегодня придется бинты снять и показаться матери.

Лучше сначала в бинтах — пусть привыкнет.

Снова ощутил Расков и боль и радость тех дней. Боль, которая казалась невыносимой, и безумная радость, когда рождалось его человеческое лицо. Лицо, настоящее, как у всех людей.



Впрочем, профессор начал творить лицо не сразу. Он делал, как шутили больные, «заготовки», точно так, как скульптор.

— Прежде всего мы сделаем вам рот, чтобы вы могли нормально есть, говорить, курить, но это будет все сделано лишь, так сказать, вчерне. А потом мы придадим вашему лицу окончательный облик,— сказал профессор Раскову.

Операционный стол, уколы, глухой голос врача.

— Больно?

Было, конечно, очень больно. Но Расков твердо сказал:

— Нет!

А когда закончилась операция, снова спросил:

— Больно?

От боли Расков не мог говорить. Он прохрипел:

— Нет!

Когда сняли повязки, а затем швы, у него от радости захватило дыхание.

— Николай, гляди-ка! — сказал он. — У меня есть рот, я могу нормально есть и пить. Слушай, как я говорю. Теперь меня поймет каждый.

Но это было только начало. Лицо, как сказал профессор, сделали только вчерне. Не было верхней губы, носа, рот был такой крохотный, что едва пропускал чайную ложку.

Операция за операцией... Пересадка филиатовского стебля. Его пытались заготовить еще в госпитале. На груди вырезали большой кусок кожи и мышц, оставив его приращенным к телу сверху и снизу. По этим крохотным мостикам лоскут питался кровью. Он жил рядом с телом, но отдельно от него. Потом, когда стебель окреп, один мостик сняли. Кровь к стеблю стала поступать только по одному мостику. И тогда стебель стали заворачивать вверх и приращивать к лицу. Одним концом он оставался при-

ращенным к груди, откуда получал кровь и питался ею, другим — к щеке. Голову Раскова повернули набок и прибинтовали к плечу. Так он ходил целый месяц. Его спрашивали:

— Вам не трудно, Расков?

Мучительно ныли мышцы от того, что голова была все время повернута в сторону, было очень неудобно есть, спать. Жить так было тяжело, но он твердо отвечал:

— Нет, мне не трудно.

Операция за операцией.

Из лоскута кожи и живых тканей сделали нос и прижили его. Потом подрезали лоскут под форму губы и пришили. И снова подрезали.

Бессонные ночи, одна за другой, мучительные от боли. Хотелось стонать, кричать... Лицо горело, словно огонь снова терзал его: казалось, не было сил все это терпеть. Но когда спрашивали: «Как вы себя чувствуете?» — Расков отвечал:

— Хорошо.

— Боли сильные?

— Не очень. Прошу продолжать лечение.

Боль, страдания, мучительные ночи — все окупалось безумной радостью рождения лица. Когда снимали повязки и что-то в нем появлялось новое, дававшее ему нормальные формы, лейтенант бежал из перевязочной радостный и кричал другу:

— Смотри, у меня есть подбородок! Настоящий человеческий подбородок...

Порою на операциях присутствовали студенты последних курсов.

Однажды профессор сказал:

— Иван Степанович, вы не будете возражать, если вас будет оперировать практикантка? Конечно, под моим наблюдением.

Расков увидел ее. Она стояла в стороне. Тоненькая, мертвенно-бледная. Она не глядела на него. Губы ее вздрагивали. Расков взглянул на ее руки. Худенькие, слабые, конечно, еще не умелые. Им он должен доверить себя, свое лицо, где требуется тонкая работа художника. Ему вспомнилась виденная в детстве картина, нарисованная ученицей. Кто-то, глядя на нее, презрительно бросил: «Мазня!» Может, так скажут о его лице? Он мечтал унести отсюда хотя бы приятное лицо. Это была затаенная мечта. А на нем будут практиковаться. Рисковать самым дорогим только ради того, чтобы кто-то учился? На его лице, с которым он будет потом жить всю жизнь? И на всю жизнь он может вынести на лице урок, кем-то плохо выученный, плохо выполненный. Почему? Да, да, почему он должен рисковать? Почему, быть может, надежда всей его жизни должна рушиться только потому, что кто-то на нем, на его жизни, на его разрушенной мечте должен учиться? А потом Расков, возможно, будет страдать всю жизнь?

Но как же поступить? Отказаться? Но тогда каким же путем она научится оперировать? На ком? Кто-то должен быть первым в ее жизни оперируемым больным? Кто-то... Но почему не он?

Нет, Расков никогда бы себе этого не простил. Пусть учится. И если даже она не сделает его лицо таким, как он хочет, то, может быть, пройдет удачно оперирование другого больного и тот будет красивым?

Разве в памятный сентябрьский день, бросаясь в бой, Расков думал о том, почему он должен первым выскакивать из траншеи?

Почему же сейчас он задумался?

Расков шагнул к операционному столу и кивнул девушке: идите за мной.

Он лег на операционный стол. Он видел руки девушки

в резиновых перчатках. Они дрожали. Огромные ее глаза над маской смотрели на него со страхом. Расков улыбнулся: она боялась операции больше, чем он.

Расков хотел сказать ей:

«Смелее, девушка, смелее. Надо жить так: или браться за работу смело, или не браться совсем. Давайте учиться. Беритесь... А я вам помогу. Да, да, не смейтесь. Я помогу тем, что буду терпеть, молчать. Смелее, смелее, доктор, я все вытерплю».

Но мысль уже засыпала.

Когда больные узнали, что Расков дался оперироваться практикантке, кое-кто из них его осудил:

— Ты понимаешь, чем рискуешь? Ты же хочешь иметь красивое лицо.

Расков хотел ответить:

«Чтобы иметь человеческое лицо, надо самому быть человеком».

Но опять ничего не мог сказать: рот его был забинтован.

Следующую операцию ему снова делал практикант.

Операция за операцией... Шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая.

Готовилась девятнадцатая. Собирались поставить носовую перегородку.

— Поставим ее, а затем снимем слизистую оболочку со рта и переставим туда, где должны быть губы,— сказал профессор.— Губы у вас будут пунцовые, сочные.

Однако девятнадцатая операция оказалась роковой.

Расков лег на стол. Но как только к нему прикоснулся шприц, Раскова тряхнуло, словно по нему прошла электрическая искра.

Хирург недоуменно спросил:

— Что с вами, Расков?

— Я сам не пойму.

— Может быть, отложим операцию?

— Ни в коем случае! Прошу вас продолжать.

Поднесли шприц, и снова Раскова стало трясти. Он пытался взять себя в руки, но справиться с собой не смог. Его лихорадило, и он слышал, как щелкают зубы. Видимо, девятнадцатая операция принесла то, что было за пределами его силы воли. Капля, переполнявшая чашу терпения.

— Придется, сынок, тебе отдохнуть,— тихо сказал профессор.— Поезжай домой, к родным, потом я тебя вызову.

Вот и едет Расков с лицом, которое еще не совсем оформлено ваятелем.

О том, как оно рождалось, рассказывали лишь швы и большие красивые глаза с застывшей в них долгими месяцами выстраданной болью.

...Появились пригородные строения. Потянулись пакгаузы. Поезд отстукивал на стрелках. Вдали показался перрон.

Он вышел из вагона и увидел мать. В черной шали, телогрейке, в ватных стеганках на ногах.

И она узнала его — в толпе, в огромной толпе, где сплошь были военные и многие с забинтованными лицами, узнала тоже забинтованного так, что лица не было видно.

— Ванюша, сыночек!

Который день она выходила встречать каждый поезд, ожидая его.

Потом, когда увидела того, кому жизнь отдала, увидела, что с ним сделали гитлеровцы, припала к его груди и горько заплакала. Расков в первый раз за свою жизнь увидел слезы матери, этой сильной нестигаемой женщины.

Но это были слезы радости. Приехал ее единственный, ее ненаглядный, живой!..

Мать шла рядом. Он шагал широко, а она, чтобы поспеть за ним, торопливо семенила, посвящая его в дела житейские: кто ушел на фронт, кто награжден, кто рапел, чьи семьи получили горестные письма... Она рассказывала о делах Сибири, куда с Волги, Украины перевезли многие заводы, об их напряженных трудовых буднях... О многом она говорила. Но не было в ее отрывочных сбивчивых воспоминаниях рассказов о свадьбах, рождениях первенцев, новосельях — всего того, что придает радость мирной жизни.

Сибирь жила фронтом, его дыханием.

Слушая мать, Расков думал о том, что и он будет жить вестями с фронта о боевых друзьях, о родной дивизии.

Она пройдет по фронтовой дороге тысячи километров. От Сталинграда она двинулась на Орел. Батальон, в котором служил Расков, первым вошел в город.

За Орлом — Белоруссия, Польша, затем пылающее логово фашистского зверя...

От сибирской реки Иртыш до немецкой реки Эльбы.

От фронтовой песни гуртьевцев, сложенной у волжской твердыни:

Мы с тобой поражений не знали,
Был наш лозунг: «Ни шагу назад!»
До последнего насмерть стояли
И не сдали врагу Сталинград.

До победного марша у Бранденбургских ворот.

Узнает Расков и о пулеметном расчете Родиона Воробьева, который сражался против целого батальона пехоты. Одна вражеская атака захлебнулась, другая, третья... В четвертую атаку гитлеровцы пошли с танками. Тогда Родион спустил с высоты свой пулемет, чтобы тот не достался врагу, и с гранатами бросился под гусеницы; и об

артиллерийском расчете Василия Болтенко, который вступил в единоборство с 15 немецкими танками и победил; о бронейщиках младшего лейтенанта Василия Калинина, которые два дня вели неравный бой с большим бронированным отрядом гитлеровцев и уничтожили 7 танков.

И когда рассеется дым сражений, погаснут пожарница и над руинами поднимутся новые города и села, наши современники возложат венки у величественного памятника генерал-майору Гуртьеву, что воздвигнут в центре города Орла, и, раскрыв книгу генерала Горбатова «Годы и войны», с волнением прочтут воспоминания о последних минутах жизни Героя Отечественной войны.

В раздумье они остановятся у священного огня, зажженного на Могиле Неизвестного солдата: не здесь ли покоится прах командира полка Кирея Исаевича Михалева, могила которого осталась неизвестной?

С глубоким уважением люди будут слушать рассказы экскурсовода о ценнейшей реликвии Музея Советской Армии — катушке связиста Матвея Путилова, который, смертельно раненный, зажал в зубах провод. Так, с зажатым проводом, мертвого его нашли на поле боя.

Не померкнет память о Петре Пономареве. К его артиллерийскому расчету, пользуясь туманом, подкрались три вражеских танка. За ними двигалась пехота. Под градом снарядов защищал высоту Пономарев. Тогда немцы начали стрелять по артиллеристам из шестиствольного миномета. Расчет выбыл из строя. Остался только комсомолец Петр Пономарев. Он был ранен, но не оставил высоту. Он сражался до последнего патрона. Подоспевшие бойцы нашли его мертвым на лафете. Новый артиллерийский расчет, приняв орудие Героя Советского Союза, дал клятву с этим орудием ворваться в логово фашистского зверя. И клятву свою сдержал!

Пройдут годы, и люди как легенды будут вспоминать о героических делах тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Эти люди не исчезнут. В народе говорят: «Смерти у храбрых нет. У храбрых есть только бессмертие». Живые будут вспоминать о мертвых, как о живых.

Ефим Дудников, ставший впоследствии челябинским сварщиком, будет писать своему однополчанину: «Как бы хотелось встретить человека, с которым воевал плечом к плечу, он для меня ближе, чем родной! Ведь столько пережито, столько пройдено дорог! Как я мечтаю побывать в Волгограде, чтобы поклониться могилам боевых товарищей, взглянуть на обновленный город, который для сердца стал родной землей, незабываемой на всю жизнь. Однажды мне приснился сон. Хожу я по берегу Волги, вдруг навстречу мне идет Каюков и говорит: «Ты что — могилу мою ищешь?» — «Да, — говорю, — забыл и не могу найти». А он так укоризненно посмотрел на меня, что мне стало стыдно. Подвел он меня к тому месту, где я его зарыл, показал мне могилу и дал наказ не забывать больше».

Следопыты пойдут по дорогам далеких лет и откроют новые героические страницы истории гуртьевской дивизии. Молодые бойцы, потомки тех, что сражались против фашистов, и в мирное время умножат ее славу. А те, что сражались в ее рядах и остались в живых, понесут ее закали на заводы, поля, в шахты, институты.

Расков будет гордиться своими однополчанами — и живыми и павшими, — гордиться тем, что сражался плечом к плечу с ними и воспитывался в рядах прославленной сибирской дивизии. А кому-то сам помог возмужать.

Расков узнает, что его однополчане Яков Зайцев, Хасан Мамутов и Иван Богданов удостоены звания Героя Советского Союза. И о нем не забыли. Хасан Мамутов в одном из писем будет рассказывать молодым воинам о том самом

последнем бое Ивана Раскова, рассказывать, так как он видел его тогда, на поле сражения: «Мы наступали северо-западнее Сталинграда. Рота ПТР была южнее нас. Расстояние до нее было небольшое. Мы каждый день продвигались вперед метров на десять. Это считалось хорошо! Сталинградская битва всем известна. Но вот фашисты бросились в контратаку. На нас двигались двадцать танков. И рота ПТР открыла по ним огонь. Я видел, как шесть танков загорелись. Дым начал застилать все — и поле и траншеи. Ничего не было видно. Потом я разглядел, что два танка вырвались вперед и идут на нас. И еще я увидел сквозь дым Раскова. Он поднялся во весь рост. В эту минуту я убедился в его силе. Он ничего не боялся. Стоял и подавал команду своим бронейщикам. Но бойцам не удавалось подбить танки. Видно, они очень волновались, а танки были недалеко. И тогда Расков сам начал стрелять. Один танк загорелся, а другой продолжал надвигаться на нас. И когда он был совсем близко, я увидел, как Расков снова выстрелил. Танк замер. Атака была отбита. Расков показал и для меня, пулеметчика, и для всех нас, бойцов, пример мужества. Это сыграло немалую роль потом, в сражении на Днепре, за которое я был награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза. Перед моими глазами был пример командира Раскова».

А его, Раскова, долгие годы в гурьевской дивизии будут считать погибшим. Только спустя два десятилетия его однополчанин, один из авторов этой книги, который в течение 20 лет будет отыскивать без вести пропавших героев дивизии, среди многих других найдет и Раскова...

Все это будет.

Но в тот день, возвращаясь с матерью домой, Расков думал о своей судьбе, о судьбе двадцатилетнего парня, прошедшего пекло войны и страдания операционной, начинающего новую страницу своей жизни.

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

Так сидел Расков в кабинете Баранова и вспоминал свою нелегкую жизнь. Управляющий терпеливо ждал, что скажет Иван Степанович. А Расков молчал.

Наконец он поднялся и прошелся по кабинету. А потом рассказал этому еще малознакомому ему человеку свою нелегкую дорогу в жизни.

— Вы спросили меня: какое право я имел идти в шахту? Скажите, вы можете понять парня с лицом-обрубком и развороченной грудью, который не мог ни есть, ни пить, ни дышать, ни говорить? Парня, о котором говорили, что жизнь его кончилась, а он так хотел жить! И вот после нечеловеческих усилий, на удивление всем, представьте себе, выжил. Я имею в



виду себя. Я обрел мало-мальски подходящее лицо, речь... Но для полной, настоящей жизни этого мало. А медицинская комиссия заявила: «Ранение тяжелейшее. Перенес много операций. В результате — полная расшатанность нервной системы. Ни к какой работе — ни к физической, ни к умственной — допускать нельзя». Я ужаснулся. У меня не было ни образования, ни специальности. И я не мог приобрести ни то, ни другое. Мне нельзя было ни работать, ни учиться. Что ждало меня впереди? Стоило ли переносить нечеловеческие муки? В пенсионном отделе меня утешали: «Ты свой долг перед Родиной выполнил. Отдыхай». Это в двадцать-то лет! У меня было такое ощущение, что жизнь моя второй раз обрывается. Хотелось жить с веселой гурьбой таких же молодых людей, как я, вместе с ними ходить на завод, фабрику... И что таиться — в театр, кино, клуб, парк. А я... Нет, я не ропсался никуда ходить, где было многолюдно, шумно, весело. Мне казалось, что все на меня смотрят. Даже по улице я ходил с поднятым воротником шинели, закрывая лицо. Стараясь быть незаметным, подолгу наблюдал, как проходили по улицам молодые ребята. У каждого было дело. Каждый нашел свое место в жизни. А я? Где было мое дело, мое место? Иногда парни шли с девушками, оживленно разговаривали, смеялись. Я провожал их глазами, а возвратившись домой, садился за стол и долго сидел, зажав руками голову, как сейчас здесь. Я стал все чаще посещать библиотеку. В тяжелые минуты не раз перечитывал книги Николая Островского «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», роман Войнич «Овод». Какие люди жили в этих книгах! Но где они брали силы, чтобы стать такими?

Как-то мне не спалось. Я поднялся рано и вышел на улицу. Город просыпался, свежий, бодрый. На трамвайной остановке было многолюдно: все спешили на работу. И мне захотелось быть вместе с ними, так же, как они, толкаться

у входа в трамвай и знать, что тебя на работе ждут, что ты людям нужен. И я как-то невольно очутился в людском потоке и втиснулся в вагон. Пришлось стоять. Было тесно, неудобно. Но я забыл обо всем. Мне казалось, что я в самом деле спешу на работу, и мне стало хорошо. На остановке у завода народ стал выходить из трамвая. Выходили также торопливо и шумно. Я вышел вместе с ними. Люди пошли к заводу, а я отошел в сторону и остановился за тумбой, густо заклеенной афишами. Начал наблюдать, как люди спешили к проходной. Я закрыл глаза и представил себя среди них. Думаю, с какой жадностью я бы сейчас взялся за работу! Весь день я тогда бродил по городу. А вечером снова вернулся к заводу, чтобы увидеть, как люди покидают проходную, садятся на трамвай и уезжают домой. Я снова мысленно ехал с ними. Усталый, но счастливый. Прошел хороший день. Трудовой. Он прожит не зря. Стою, размышляю. И вдруг слышу: «Приметил какую? Ждешь?» Оглянулся. На тележке с крохотными колесиками сидел человек, у которого не было обеих ног, большеголовый, с массивным, почти квадратным туловищем. Я ответил: «Никого не жду». А он: «Стало быть, от тоски? Понимаю. И со мной так было. Будем знакомы. Зовут меня Порфирем Никаноровичем. Фамилия — Фоминых. Может, зайдем ко мне? Живу рядом». Я тогда с горечью подумал: «А почему же не зайти? Ведь мы с ним друзья по несчастью». Пришли, сели за стол. Он заметил: «Тоска, братуха, у тебя в глазах. Все вижу. Как звать-то?» Я в шутку: «В детстве Ванькой величали». А он поправил меня: «Не Ванькой, а Иваном. Это имя русское, исконное. Гордиться им должен». Спрашиваю его: «На фронте ног лишился?» А он: «Ежели бы на фронте, я бы такую гордость имел! А то ведь по глупости. Пошел на охоту, заложил малость, заплутался и обморозил ноги. Оттяпали. Это — совсем не то. А ведь я заводской. Токарем был. Лихим. Жить бы мне

да радоваться. Ан нет. Ко всему пригляделся, вроде все надоело. Утром по гудку, вечером по гудку. Только и слышишь: план давай, норму давай! Ждешь, бывало, выходного — не дождешься. И вот в один такой долгожданный выходной оно и случилось. Обезножил. Сижу дома месяц, год. Жизнь опостылела. Вот и стал я «на работу» выходить по гудку. Как ты стоял, глядел и думал: «Мне бы к станку сейчас. Хоть на день». Отдал бы за это год жизни. Чтобы мастер кричал: «Жми на план, Порфирий!» — чтобы станок и стружка визжала. Только теперь я понял: разве визжит она? Нет, дружище! Песню поет. Так что я тебя понимаю».

Пока мы говорили, хозяйка накрыла на стол. Задымила картошка, запахло солеными огурцами, укропом. Конечно, поллитровка появилась. Хозяин наполнил стакан, протянул мне: «Выпьем!» Я задумался: «Может быть, в самом деле выпить? Все забудется...» Но потом снова всплывает? А тогда опять стаканчик? Так далеко зайти можно. Только оступись... «Не буду!» — говорю. Хозяин как крикнет: «А я говорю — пей! Тебе же добра желаю. Сразу полегчает. В водке какое хошь горе утопишь»... Но я твердо: «Сказал — не буду, и все». И тут Порфирий Никанорович как-то сразу смяк, посмотрел на меня ласково: «Ну как хошь, только гляди, как бы горе не задушило. И еще одно хочу тебе сказать: не ходи сюда встречать и провожать людей. Не к чему чужим счастьем жить. Это вроде водки: самообман. Ты свое счастье затевай, иначе стаканчика наверняка не минуешь».

Это знакомство было вроде той капли, что переполнила чашу моей горечи. Назавтра пошел в райком комсомола и заявил: «Прошу направить меня на работу. Не могу сидеть без дела». И вот второй раз в своей жизни я снова встал на ноги: начал работать, учиться и даже стал горняком. Вы представляете, что значит лишиться дыхания

нашей жизни? И что значит опять почувствовать его? Я ожил. Я стремился стать полноценным человеком и непременно быть на переднем крае. Ведь я — коммунист! И я поехал на Дальний Восток. Зачем? Чтобы быть на подсобных работах? Нет. Где передний край для горняка, если не в шахте? Я этим хотел как бы вычеркнуть из своей жизни ее тяжелые страницы, словно их не было, увидеть, что я способен на трудные дела, поверить в себя. Что же в этом плохого?

Расков присел к столу и в упор посмотрел на собеседника.

— Я все сказал. Теперь судите сами.

Баранов, внимательно слушавший Раскова, словно вышел из оцепенения.

— Нет, я вас осуждать не стану. Но именно теперь я настаиваю, чтобы вы прошли медицинскую комиссию. Я прошу вас не только как управляющий, но и как коммунист. Дайте мне слово, что как только комиссия приедет, вы явитесь на прием.

Расков отвернулся. Дать такое слово — это значит скоро покинуть дело, которое так полюбилось. Он молчал.

Баранов настаивал:

— Я жду.

— Хорошо, — поднимаясь, глухо сказал Расков. — Даю вам слово, что, как только комиссия приедет, я первым явлюсь на прием.

И ушел. Уже после вспомнил, что забыл сказать: «До свидания».

* * *

Расков направился домой. Ему было тоскливо. Конечно, медицинская комиссия его спишет. Она приезжает сюда каждые полгода. Обследует всех. В воздухе шахты незримо плавает кварцевая пыль. Надо работать в спе-

циальных масках-респираторах. Надеть и дышать через нос. А у Раскова нос поврежден. Дышать может только через рот.

Неужели придется уезжать отсюда, где все стало таким близким и родным?!

Ему вспомнился день, когда он приехал сюда. Раскова назначили начальником смены. Нелегкой. Уже много месяцев она была в прорыве. Расков удивлялся: «Почему люди это видят, но не исправляют дело?»

Как-то о делах смены он завел разговор со старым опытным горняком. «А что поделаешь? — подумав, сказал он. — О плане говорили не раз. Соберут горняков, мы придем, слушаем упреки сквозь дрему... Какой толк от таких разговоров? Соберут, скажут: вот, дескать, план не выполнили. Ну, не выполнили. Сами знаем. А что рабочий может поделать? Ежели внесет предложение — так на бумаге и останется. И потом: чего ошибки по косточкам перебирать, когда время ушло? Вот ежели бы выявить неполадки и тут же прижать им хвост».

Вскоре Расков убедился, что старый горняк прав. Он решительно заявил в рудоуправлении: «Порядки надо менять». Кое-кто осторожно предупредил: «Вы — молодой специалист. Круто брать — не обжечься бы». — «И все-таки я буду брать круто», — ответил Расков.

В один из дней он предупредил рабочих смены: «Каждый день по окончании работы будем собираться, чтобы подводить итоги работы смены и намечать задания на завтра».

Горняки вначале были этим недовольны. Хотелось скорее домой. Расков их по долгу не задерживал. Минут на 10—15. Однако люди в тот же день стали узнавать, как работали, какой заработок. Это им понравилось. Они горячо спорили об всем, что могло помочь делу. Теперь уже никто не говорил, как прежде: начальству, мол, виднее,

а наше дело маленькое. Попробуй задержать откатку руды или отбой ее, замешкаться с получением инструмента — такой шум на пятиминутке поднимут! Расков слушал рабочих и улыбался: близко к сердцу стали они принимать дела. Лед тронулся! Сам он всю смену был рядом с ними. Начальник смены до него, бывало, к концу дня получит сводку и головой качает: опять недодали. Расков делал иначе. Он по часам следил за добычей: вырисовывается ли план? Чуть что, тут же переставит людей из одного забоя в другой, перебросит вагонетки, рабочих предупредит об угрозе срыва задания...

И вот результат: «Смена горного мастера Раскова выполнила план на 120% и заняла первое место на руднике!» — возвещает «молния».

И когда к руднику подкралась беда — он стал выработываться и потребовалось проложить ствол к новым горизонтам, — эту работу поручили начальнику лучшей смены Раскову.

Не было покоя ни днем, ни ночью. Когда Раскову удавалось приходить домой ночевать, его часто будили. То позвонят — ствол затопляет, то не сработала взрывчатка...

Сколько было таких ночей!

Горячие дни, тревожные ночи...

* * *

Спит таежный поселок, окутанный мраком и тишиной. В домах давно погашены огни, выключено радио. Кажется, и тайга приглушила свою вековую песню. Притихла, смолкла.

В тишине Раскову особенно резким показался теле-

фонный звонок. Он вскочил с постели, зажег свет.

— Слушаю!

Голос начальника цеха Д. М. Сергиевской:

— Вы давно были на шахте, Иван Степанович?

— С вечерней сменой поднялся, Дина Максимовна.

Только что лег спать.

— На проходке ствола — пьяные.

— Иду,— Расков положил трубку и начал поспешно одеваться.

— Ты один не спускайся в шахту,— тревожно попросила жена.

— Постараюсь,— глухо ответил Расков.

Он бежал по таежной тропинке, спотыкаясь в темноте.

Прибежал, запыхавшись, начал быстро надевать спецовку. К нему подошел дежурный.

— Иван Степанович, не пойти ли мне с вами? Люди там есть нехорошие. Связываться с ними — дело небезопасное.

— Ничего,— ответил Расков.

Он спустился в шахту и запагал к стволу.

Неподалеку от черного зева ствола на земле лежал парень, сдвинув на лицо шахтерскую каску. Видно, спал. Рядом сидели трое и хохотали. Это те, что недавно вышли из заключения. Расков узнал их. Подошел. Они смолкли.

— Кто вам позволил пьянствовать в шахте?

Кучерявый (как потом выяснилось — главарь) поднялся и хрипло бросил:

— А кто вам сказал, что мы пьянствовали? Клевета! Мы самые тверезые на шахте.

И он, и рыжий, сидевший рядом, расхохотались.

— Гражданин начальник, зачем нервы портить? — в растяжку заговорил рыжий.— Лучше присел бы с нами, повеселился малость.

— Сейчас же оставьте шахту,— глухо сказал Расков.



Рыжий поднялся.

— Но-но, потише! А то как бы чего не случилось. Все-таки нас четверо, а гражданин начальник один.

Расков оглянулся. Парень, что валялся на земле, уже поднялся, примостился сбоку и тяжелыми, словно свинцом налитыми глазами глядел на Раскова. Сзади стоял четвертый. Расков очутился в кругу.

— А рядом вот это! — усмехаясь, продолжал рыжий и показал на черневший ствол. — Спустился в шахту гражданин начальник, спросонья не разобрался и шагнул не туда, куда надо. Кого винить? Никому ничего не докажешь. Четверо свидетелей против одного. У начальника небось дите есть. Скучно будет без папы...

И запел:

Я остался сирото-ою,
Счастья, до-оли мне нет!

Кругом расхохотались.

Расков почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Кулаки сами сжались. Но он сдержал себя.

Резко бросил:

— Прекратить песню!

Песня оборвалась.

— Ты мне угрожаешь? — тихо спросил он рыжего. — А ну, посторонись!

Он отстранил рыжего, шагнул и встал на самом краю ствола.

— Сейчас же убирайтесь из шахты, слышите? — властно сказал Расков.

Рыжий растерянно посмотрел на Кучерявого. Тот молчал.

— Завтра же вы все будете уволены! — сказал Расков. Главарь, прищурясь, взглянул на него.

— Осторожней, — сказал он. — Мы ведь всяко можем. И так...

Он кивнул на устье ствола,

— И этак...

Вынул из кармана складной нож, рывком раскрыл его и подбросил. Нож описал в воздухе блестящую спираль и лег на ладонь.

— Понятно? Гражданин начальник пусть уходит и помалкивает. И порядок. Уговор? Иначе начальнику отсюда трудно будет уйти.

Расков выпрямился.

— Я не уйду из шахты, пока вы отсюда не уйдете,— сказал он.— В последний раз говорю: или вы уходите, или я выключаю ток.

Никто из них не шелохнулся.

— Ну и что будет? Темнота,— процедил рыжий.— А в темноте гражданину начальнику как бы совсем скучно не стало.

— Посторонись,— глухо сказал Расков и шагнул к выходу.

Но они стояли на дороге. У кого крепче нервы? Расков шагнул прямо на них, и они расступились. Он пошел вперед, они за ним. Он подошел к телефону и дал команду:

— Выключить ток! Работать сегодня не будем.

Свет погас.

Расков направился к выходу. Шел не торопясь, лампочкой освещая выработку. Он слышал сзади тяжелые шаги, надсадное дыхание. Но обернулся только у выхода. Громко спросил:

— Все четверо здесь?

— Где же нам быть? — вздохнул рыжий.— Не сидеть же в темной шахте.

— Поднимайтесь! — зло сказал Расков.

Выходя, главарь протянул:

— Однако...

В голосе его и удивление, и зависть, и угроза.

Домой шел той же дорогой: таежной, окутанной мраком. Шел размашисто, не оборачиваясь, не оглядываясь по сторонам. Дорога была пустынная. Те четверо словно сгинули.

Людмила Александровна встретила мужа вопросом:

— Ну что там?

— Пустяки. Пришлось их удалить из шахты. И все.

Вечером Людмила Александровна пришла с работы и сказала:

— Один из них зашел сегодня ко мне в управление и говорит: «Ежели твой муж нас уволит, больше ты его не увидишь».

Расков ответил:

— А мы их все-таки уволим.

Рапорт был короткий: «За появление на шахте в нетрезвом виде...» Об угрозах — ни слова.

В тот же день всех четверых уволили.

Было раннее утро. Далеко за сопками рассвет лишь чуть розовел. Тайга темнела за окном. Звезды над ней блестели ярко, совсем по-ночному. Как обычно, Расков решил пойти на шахту рано. Дел много. Людмила Александровна провожала его.

— Темно еще,— сказала она.— Может быть, подождешь, пока рассветает?

— В родной тайге кого бояться! — отшутился он и вышел.

Шагал широко и свободно. Дорога вела через мост. Потом дальше поворот и начинается тайга. Вдруг из-за сосны навстречу ему шагнул человек и загородил дорогу.

Кучерявый. Главварь. Стоял, по-бычьему, вперед наклонив голову. Не спеша сунул руку за пазуху и вытащил знакомый Раскову нож. Лезвие остро блеснуло.

— Ну вот и все, гражданин начальник! — прохрипел

он.— Рассчитались вы с нами, а теперь наш черед пришел. Тут, стало быть, вы и останетесь...

Людмила Александровна глядела в окно. Она видела, как муж свернул на тропинку и скрылся за деревьями, но она продолжала глядеть ему вслед. Угроза Кучерявого не давала ей покоя.

А он, ее муж, удивительный человек. Сколько лет знает его и продолжает удивляться ему.

Впервые она увидела его в магазине. Молодой человек в ладно спитой шинели, блестящих хромовых сапогах, военной серой ушанке. Сразу поняла: офицер, недавно демобилизовавшийся. Воротником шинели он прикрывал лицо. Видны были только глаза: огромные, зеленовато-серые, на редкость глубокие, с затаенной в них болью. Очевидно, он ничего вокруг не замечал. Прошелся по магазину раз, другой, думая о чем-то своем, видимо, очень тяжелом. Многие в магазине обратили на него внимание. А он никого не видел. Постоял, окинул все вокруг невидящим взглядом и вышел. Людмила Александровна видела, как он прошел мимо окна магазина и побрел по улице, низко опустив голову.

Вечером Людмила Александровна рассказала об этой встрече своей сестре Наде. Та пожала плечами:

— Может быть, горе у парня большое. Не находит себе места. Вот и бродит по городу, стараясь забыться. Война беды принесла многим.

— У него удивительные глаза,— продолжала разговор Людмила Александровна.— Очень глубокие.

Сестра улыбнулась:

— Уж и глубину глаз заметила! Не влюбилась ли?

Людмила Александровна не обиделась. В любовь с первого взгляда она не верила. Но способность увлекаться,

вера в жизнь, некоторый романтизм души были ей свойственны. Она это знала за собой и не считала недостатком, как некоторые другие «трезвые» люди.

Уже с детских лет она полюбила книги о людях несгибаемой воли и высокой жертвенности, людях чистой, красивой души. Она мечтала встретиться в жизни с Павкой Корчагиным.

Ей казалось, что среди тех, кто воевал, среди фронтовиков, таких, как Корчагин, много.

Может быть, именно поэтому она при первой встрече обратила внимание на Раскова. Глаза его ей запомнились. Однако проходили дни, и новой встречи не было.

Как-то зимой она возвращалась с работы с сотрудницей отдела связи. Такая болтливая, веселая блондинка. Среди многих и быстрых слов ее, которые Людмила пропускала мимо ушей, уловила:

— ...Занятный парень. И ужасное ранение — лицевое.

— Что-что? Кто он? — поспешила остановить собеседницу Людмила Александровна.

— Он работает экспедитором. Разъезжает. А когда бывает здесь, сторонится, на людях старается меньше показываться. Особенно стесняется девушек. Дело в том, что у него шитое лицо, — трещала блондинка.

Где-то внутри около сердца разлился кипяток...

Шло время. Людмиле Александровне не удавалось познакомиться с новым экспедитором: он все время был в разъездах.

А потом, вспоминала Людмила Александровна, ей, как члену месткома, поручили оформить выставку товаров широкого потребления. Секретарь партийной организации сказал, что попросит помочь ей нового экспедитора.

— Здорово рисует, — сказал он.

Людмила Александровна сидела над схемой оформления, когда он вошел. Она подняла голову: ладно скроенная

шинель, поднятый воротник и огромные, знакомые ей серые глаза.

Он! Она поняла это по тому обжигающему разливу кипятка в груди, который она ощутила уже однажды.

Не сбрасывая шинели, не опуская воротника, он начал писать заголовки.

Засиделись поздно. Он предложил ее проводить.

Шли молча. Потом разговорились. Сначала о делах карьера, потом о последнем фильме, о войне. Казалось, разговаривали близкие, давно знающие друг друга люди — настолько близкими были их взгляды и вкусы.

Назавтра, когда продолжали оформлять выставку, она стала часто ловить на себе его пристальный взгляд. А когда кончили работу, он вдруг встал перед ней во весь рост и опустил воротник шинели.

— Чтобы вы всю правду обо мне знали.

Она взглянула на его лицо и застыла.

Он заметил ее замешательство и шепотом спросил:

— Я очень страшный, да?

А она, помнится, была взволнована одной мыслью, которая мелькнула в ее пораженном этим зрелищем мозгу: «Каким мужеством нужно обладать, чтобы жить с сознанием: я очень страшный»...

Легонько прикоснувшись к его руке, она тихо сказала:

— Пойдемте... Вы не откажетесь меня проводить?

И заметила блеск его глаз, сдержанные слезы.

Шли молча. Потом она взглянула в небо, на звездильдинки и спросила:

— Скажите, в чем, по-вашему, смысл жизни?

Ответом было молчание. Мимо прошла компания парней и девушек, весело и шумно обсуждавших что-то свое. И опять тишина. Наконец он сказал:

— У нас был комиссар дивизии Свириц. Он говорил:

«Жить — Родне служить». Я это так понимаю: жить не только для себя, а больше для других. Со смыслом надо жить, одним словом. Ну вот так, как жил Павел Корчагин.

Она остановилась удивленно.

— Корчагин?! Это ж мой любимый герой!

— Да? — Он тоже остановился и радостно взглянул на свою спутницу.

Невольно руки их потянулись друг к другу. Так и шли, взявшись за руки, молча. Потом она попросила:

— Расскажите о своей жизни.

— Как-нибудь расскажу, — ответил он и замолчал.

Он стал часто ее провожать домой. Этот изувеченный молодой человек был интересным собеседником. Подкупало его искреннее стремление к доброму, хорошему, честному. Она привыкла к нему. Когда он уезжал в командировку, стала замечать: ей не хватает его. И дорога домой казалась длинной, длинной. Щемящую сладость радости ощущала она при каждой новой встрече.

В свободные часы они стали гулять по заснеженным бульварам, паркам. Он шел рядом, шутил, смеялся и забавался, не прикрывал лица. Людмила Александровна, вспомнив сейчас об этом, так же как и тогда, счастливо улыбнулась. Но ни в клубе, ни в театре, ни в кино они вместе еще не были.

— Не настаивайте, — говорил он. — Я вас прошу.

Она ходила в театр, на вечера с сестрой, с подругами. И если он знал, что она задержится поздно, то ждал на улице, чтобы проводить.

Наконец наступил вечер, когда Иван заговорил. Он рассказал ей все, что пережил за свою жизнь, что никогда даже матери не рассказывал. Он говорил о памятном сентябрьском дне, о той ночи, когда решал: стоит ли дальше жить, о восемнадцати операциях, о тоске молодого

парня, обреченного на инвалидность. Он ничего не скрывал: ни радостей, ни тревог, ни бед, ни мечтаний. Он рассказывал ей все так, словно перед ним был самый близкий, родной ему человек. Она это почувствовала. И это глубоко тронуло ее. Это было то откровение, перед которым растаяла последняя тень отчужденности.

— Вот такая была у меня жизнь,— сказал он.— Нескладная. На фронте мечтал: кончится война и в «гражданке» буду на переднем крае. Понимаете, что я имею в виду? Где трудно, где жизнь бьет ключом. А что получилось? Инвалид. В мой-то годы! Вот вам и передний край... На что я могу теперь рассчитывать? Обо мне говорят: весельчак парень. Верно, я со всеми смеюсь, шучу. Это чтобы другим настроение не портить. А на самом деле жизнь у меня невеселая...

Потом помолчал и еле слышно прошептал:

— Зря я вам это рассказал...

— А может быть, не зря,— также тихо ответила она.

— Не надо...— взял он ее руки в свои.

— Что — не надо? — испуганно прошептала она.

— Жалости не надо. Я вижу ее в ваших глазах. А когда я вижу, что люди меня жалеют, я начинаю ненавидеть себя: значит, я уже конченный человек... Не надо, прошу вас,— закончил он взволнованно.— И потом я так вам скажу,— успокоившись, продолжал он.— Не думайте, что я уже сдался. Я найду свое место в жизни. Я еще за передний край бороться буду.

Конечно, было очень просто сказать ему, как обычно говорят в таких случаях: «Боритесь, добивайтесь, вы сильный, вам удастся», или что-то в этом роде — бодрящее. Но с ним не хотелось ей так говорить. Да и не поверил бы он в искренность этих шаблонных слов. Ему надо было сказать что-то другое, очень искреннее. Сказать так, как она могла бы сказать самой себе: «Ты израненная, трудно

тебе будет встать вровень с другими на переднем крае. Ох как трудно».

И она откровенно ему сказала:

— Это будет нелегко.

— Знаю,— вздохнул он.

В ту ночь ей долго не спалось. Она думала о Раскове. Она стала сравнивать его с другими знакомыми ей молодыми людьми. Нет, с ним было интереснее. Он был ближе ей. В его мечтах было много того, о чем мечтала она.

В нем действительно были черты Павла Корчагина: высокие идеалы, трудная судьба, надломленное здоровье... И такое нежелание сдаться. Выстоять! Может быть, поэтому он стал ей близок?

Назавтра Расков уехал в командировку. Она шла домой с подругой.

— А ты знаешь, Расков очень оригинальный парень! — сказала Людмила Александровна.

Подруга усмехнулась.

— Что-то часто тебя видят с ним...

— Скажи, в чем, по-твоему, красота человека? — на вопрос вопросом ответила Людмила Александровна.

— Мужчины?

— Хотя бы.

— Мужчина должен быть стройным, интересным... А знаешь, у Раскова очень красивые глаза.

Людмила Александровна молчала и думала: «И душа! Красота человеческая! Как много это значит. Красивый характер, мысли, чувства, дела, стремления... Все, из чего складывается человеческий облик».

А вслух сказала:

— Как жаль, что нет зеркала для души.— А потом добавила: — А все-таки есть. И чудесное зеркало, в котором ни одной черты внутреннего мира человека не утаить. В нем душа человека отлично видна. Я имею в виду отно-

пения человека к другим людям, внимание к их нуждам, их интересам. Что, например, ты скажешь о человеке трудолюбивом, бесконечно добром, отзывчивом, искреннем, честном, о человеке, который живет не только для себя, но и для других, который никогда не пройдет мимо чужой беды, теплом своего сердца согреет другого? Который своим телом может закрыть амбразуру дота, чтобы от вражеского огня защитить своих товарищей? Что можно сказать о таком человеке? Он бесконечно красивый человек. Или ты не согласна?

— Нет, почему же? — уклончиво ответила подруга.

...Людмила Александровна нервно прошлась по комнате, поправила одеяло на сладко спящей дочурке и опять прильнула к окну. Как он там, ее любимый, единственный? Боль и тревога не покидали ее. Вспомнила, как однажды готовилась в длительную командировку. Она оттягивала отъезд, ожидая Раскова: хотелось проститься с ним. Он приехал накануне. И странно, встретил ее отчужденно, на лице его блуждала смущенная улыбка.

— Вы проводите меня? — спросила она.

— Провожу, — неохотно, как показалось Людмиле Александровне, ответил Расков.

Как только вышли на улицу, она спросила:

— У вас что-то случилось?

— Вроде того.

— Что?

— Откровенно?

— Мы всегда были с вами откровенны.

— Вот это и плохо, — вздохнул он.

Она удивленно взглянула на него:

— Не понимаю.

— Может быть, вам это и не понять. Мне тяжело стало. Ну, как вам это сказать? Говорить я не мастер, сами знаете. Продумал я все в командировке... Часто там

о вас вспоминал. На работу пойду — о вас думаю, в гостиницу вернусь — тоже. Особенно, знаете, что повлияло? В последний раз открылся я вам весь. Вроде близкому человеку. А близкой вы мне никогда не будете. Какая я вам пара? Я вам что? Забава. Парень занятное рассказывает. Вам развлечение. А я? Я живой человек. Да еще такой, у которого горя полно. Любой ласке рад. А потом всю жизнь мучайся, что случайной ласке поверил.

— Что вы говорите, Иван Степанович? Я вас не узнаю.

— Я сам себя перестал узнавать. В общем, пришел я к такому выводу: пора это кончать. Придется мне уходить.

Они подошли к ее дому. Он пожал ей руку.

— Прощайте, Людмила Александровна.

Она стояла словно окаменевшая. Конечно, она поняла его. Но что можно было сказать ему в ответ? Что она тоже любит его? Но любит ли?

Она растерянно смотрела ему вслед.

Людмила Александровна пробыла в командировке больше месяца. Она все время думала о Раскове. Вспоминала каждую подробность их коротких встреч. Слышала его голос, чувствовала тепло его рук. Как только приехала, зашла к нему в отдел.

Но стол Раскова был пуст.

— Не Раскова ли ищешь? — спросила сотрудница. — Уволился. Не захотел работать экспедитором. Решил стать сапожником. Поступил на курсы, которые открылись для инвалидов.

Слезы закипели в глазах Людмилы Александровны. Она стояла и туго смотрела на его стол.

Ушел!

А сотрудница добавила:

— Говорят, выпивать стал крепенько.

Тяжело вздохнула Людмила Александровна, туго стянула на плечах шерстяную шаль.

Да, нелегко далась ей любовь. Был канун 8 Марта. Она готовила праздничный вечер. Всем было весело, а ей нет. В суматохе дел в коридоре увидела Раскова. Он стоял, как обычно, прикрывая лицо поднятым воротником шинели.

— Пришли! — радостно сказала она и даже не поняла, почему он, всегда избегавший многолюдья, легко согласился пройти в праздничный, яркий зал, наполненный людьми, с открытым лицом. Когда начались танцы — поняла: — От вас пахнет водкой. Вы начали пить?

— Что же делать? Видно, Порфирий правильно говорил: в вине любое горе утопить можно.

— Это формула для слабовольных. А ведь вас я считала волевым человеком.

— Зря. Я дал себе слово с вами больше не встречаться. А узнал, что приехали, не выдержал. Дай, думаю, повпдаюсь в последний раз. Вот вам и сила воли.

— В данном случае она не нужна была, — улыбнулась Людмила Александровна.

— Это правда? — почти крикнул он и потянул ее из зала, из клуба...

Той же весной на доске приказов по предприятию люди читали: «Инженера отдела капитального строительства Малкову Людмилу Александровну числить Расковой».

Знакомые из такта не спрашивали, что ее побудило сделать такой шаг. Но удивлялись почти все. Разговоров всяких и разных было много.

Слушала она толки и улыбалась. Не могут понять люди, что она просто любила Раскова, как миллионы женщин любят своих избранников и так же, как они, не искала этому объяснений.

Она перестала замечать изъяны его лица. Она видела только его большие красивые глаза, в которых жила его

душа. И если бы ее спросили, кто самый красивый человек на свете, то она сказала бы:

— Мой Ваня!

...Но где он сейчас?

Людмила Александровна с беспокойством взглянула на часы: может быть, он уже на шахте? Она сняла трубку, позвонила на шахту. Ей ответили:

— Расков еще не пришел.

Впрочем, она напрасно беспокоится: он и не мог еще прийти, ведь ушел совсем недавно. Но все-таки неспокойно.

Людмила Александровна начинает нервно ходить по квартире. Она привыкла беспокоиться о делах мужа больше, чем о своих. Расков — прямой, открытый человек, казался ей большим ребенком — умным, добрым, но наивным, очень неопытным в жизни. И она заботилась о нем, как о своем ребенке, которому нужно напоминать, что пора покушать, а то он может забыть, которого приходится ждать допоздна и беспокоиться: не случилось ли с ним что-нибудь?

Так повелось с первого же дня ее замужества.

Ей вспоминается крохотная квартирка. Полуподвал. Она переехала жить к нему. Комната разделена дощатой перегородкой на две. Тесно. Посмотришь в окно — только сапоги да резиновые боты мелькают. Брызги порой летят в стекла.

В комнате тихо и сумрачно. Людмила Александровна читает и прислушивается.

Наконец в коридоре раздаются шаги. Расков входит, шумный, веселый.

— Все экзамены сдал на «отлично». Мастер-модельщик. Пятый разряд. Поздравь: получил направление в сапожную мастерскую.

— Поздравляю,— тихо откликается Людмила Александровна.

— Ты о чем задумалась?

— О твоей работе. Ты считаешь, что это то место в жизни, о котором ты мечтал?

— Тебя смущает, что твой муж стал сапожником?

— Нет. Мой дед был ямщиком, и я горжусь этим. Можно быть сапожником и культурным человеком...

Он понимает ее. Совсем недавно он был у ее родных. Сестра Софья и брат Всеволод — студенты Томского политехнического института, сестра Надежда — студентка Хабаровского железнодорожного института. Сама инженер. Рядом с ними он чувствовал себя как-то неловко. Некоторые слова он даже говорил неправильно: «завтри», «вчера»...

Расков задумывается. Он очнулся, когда до его сознания дошли ее слова:

— Ты способен на большое. Тебе нельзя на этом останавливаться. Надо учиться.

— Учиться? — переспрашивает Расков. — Мне уже 29 лет. Неужели я теперь сяду за парту? Ученье мне не осилить.

— Осилишь: ведь ты теперь не один, нас двое.

— А если я не буду учиться, ты не уйдешь от меня?

— Нет. Я не уйду, кем бы ты ни работал.

— Тогда, Люда, я скажу тебе: учиться не могу. Это не для меня. Годы не те и здоровье не то.

Спустя несколько дней она снова вернулась к разговору об учебе. А он опять свое: «Нет». Она настаивает:

— Ты пойдешь не в школу, а в техникум. К экзаменам я тебя подготовлю.

Она убеждает мужа, и он, бывший золотоискатель, решает поступить в техникум цветной металлургии.

Людмила занимается с ним по вечерам. И не только с ним, но и с его двоюродным братом Павлом и еще одним фронтовиком.

— Рядом со мной будет сидеть мальчонка, который чуть ли не в сыновья мне годится. Я и за парту не пролезу, — бурчит Расков.

— Сегодня диктант, — не слушая его, говорит жена. Русский, геометрия, физика...

— Готовься к экзаменам!

Расков недоуменно смотрит на жену:

— Жить-то на какие деньги будем?

— На мой заработок, — просто отвечает Людмила Александровна.

Она умудряется распределять свою зарплату так, чтобы ее хватило на троих (с ними жила мать Раскова), и как-то сводит концы с концами.

Но однажды знакомая ей говорит:

— Твой Расков «на все ноги мастер».

— Ты хотела сказать «на все руки мастер». Это верно, он все умеет делать.

— Нет, Людочка, я не оговорила: «на все руки» называют перчаточника, а твой Расков — тапочник.

— Что это значит? — возмущается Раскова.

— Сходи на базар — убедишься: он там тапочками торгует.

Неприятная весть ошеломляет Людмилу Александровну. Она густо краснеет, а затем берет себя в руки и спокойно говорит женщине:

— Незачем мне идти на базар — там его нет... И не будет!

Прибыв домой, она видит: ее Расков шьет тапочки. У стола два табурета. На одном сидит он, на другом

разрезанные его старые брюки, суровые нитки, тесьма.

— Ваня! — невольно кричит Людмила Александровна.

— Прости меня, Людочка! — Тапка выпала из его рук. — Я только хотел помочь тебе.

Она прижала его голову к груди.

— Запомни, Ванюша, теперь я работаю, а ты учишься. И так будет четыре года... Тапки с этой минуты ты шить больше не будешь. А разговор о помощи прекратим.

И вечером снова за столом сидят три ученика.

А осенью учительница Людмила провожает их на экзамен. До диктанта все идет нормально, а за диктант им еле-еле натягивают по тройке.

Конкурс. Пройдут... Не пройдут...

— Люда, меня приняли, — вбегает в комнату счастливый Расков...

* * *

Людмила Александровна опять сняла трубку, позвонила на шахту и получила тот же короткий ответ:

— Расков не приходил.

Людмила Александровна помнит не один такой рассвет. Сидят они вдвоем — муж и жена. Рассвет льется в окно, а они решают уравнения.

Сколько было таких ночей и рассветов!..

Но ведь все не напрасно. Ей вспоминается ярко освещенный зал, украшенный лозунгами, транспарантами. Студенты одеты празднично. Настроение у всех приподнятое.

В президиуме преподаватели, лучшие выпускники. Среди них заместитель секретаря партийной организации техникума Расков.

Директор техникума оглашает:

— ...Расков Иван Степанович! Диплом с отличием!

Аплодировали и преподаватели, и ребята. Все знают, какого труда стоил диплом фронтовику.

Расков смотрит в зал, туда, где сидит она, и взгляды их встречаются.

Домой идут вместе.

В тайге шумела весна, как в тот вечер, когда они поженились. Немного поздняя, долгожданная сибирская весна. Ветер опять несет запахи талой земли.

— В моей жизни случались важные перемены всегда весной. И теперь каждую весну мне кажется, что я начинаю жить сначала, — говорит Расков.

— Это хорошее чувство, Ваня! Это значит, что ты не стареешь, если жизнь твоя снова начинается.

— А сейчас я в самом деле начинаю жить сначала. Ты знаешь, куда мы едем?

— Куда? — спрашивает она.

— Далеко, — отвечает он. — Меня сегодня вызвали на комиссию по распределению и спросили, куда бы я хотел ехать работать. Я ответил так, как мы с тобой условились: «Туда, куда мало желающих. Где трудно»...

И вот он — трудный край. Таежная глубинка.

Людмила Александровна невольно отвернулась от окна и взглянула на часы. В которой раз стала подсчитывать: мог ли он дойти до шахты? Прошло полчаса. Больше... А ведь он раньше доходил за 20—25 минут.

Он уже должен быть на месте, непременно. И если его нет, значит что-то случилось? Нет, этого не могло быть, он должен быть уже там.

Она снимает телефонную трубку:

— Скажите, пожалуйста, Расков пришел?

— Иван Степанович? Сейчас узнаю.

Секунды... Бесконечно длинные, томительные. И тот же голос:

— Говорят, еще не приходил.

Трубка выскользнула из ее рук. Она мигом набросила шаль и, на ходу надевая пальто, выскочила на улицу.

Она бежала по таежной тропке, не обращая внимания на мокрые листья, которые скользили под резиновыми сапогами. Она ничего не замечала. Только время от времени останавливалась и прислушивалась.

А тайга глухо шумела.

И только когда женщина остановилась на повороте, в стороне что-то мелькнуло. Пригляделась. Тень. Между деревьями пробирался человек. Кучерявый! Почему он так торопится, бежит? И бежит стороной!

Холод ледяной струей захватил дыхание. Ей захотелось крикнуть. Но голос словно оледенел. И она стремглав побежала к шахте.

Огни рудника, мелькавшие сквозь ветви деревьев, казалось, уходили от нее.

Она прибежала на рудник и с трудом выговорила:

— Где Расков? Вы видели его?

— А как же, — ответил дежурный. — Он только что отправился в шахту.

Она тяжело опустилась на стул...

Что же произошло на таежной тропе?

Парень тупо взглянул на Раскова и хрипло повторил:

— Тут, стало быть, вы и останетесь, гражданин начальник.

Темные глаза его тяжело поползли по шее, по груди Раскова, прощупывая, куда лучше ударить. Пальцы с силой сжали рукоятку ножа.

И так же, как в шахте, кровь бросилась в лицо Раскову, но он и на этот раз сдержал себя.

Качнулся к парню и тихо спросил:

— По мою душу пришел? Зря! Она у меня живучей, чем ты думаешь. На фронте я вот так же, как тебе, каждый день в лицо смерти глядел. И не нож, а кое-что пострашнее видел. И не испугался. Бей!

Расков распахнул пальто, пиджак и рванул рубаху. В сумраке забелела обнаженная грудь. Пестрая, изрезанная, изуродованная.

Парень глянул на нее, и глаза его остекленели.

— Бей, ежели найдешь, куда бить! — крикнул Расков и шагнул на него.

Парень попятился. А Расков стал наступать на него.

— Бей! За правду мою, за беду мою! За все — бей!

Парень, не мигая, глядел на грудь Раскова, пятился. Он не заметил, что сзади яма, оступился и замахал руками, чтобы не упасть. Кое-как устоял, согнулся, боком перескочил через нее и прохрипел:

— Еще прет и прет. Ну и дурень!..

Он сунул нож за голенище и, не оборачиваясь, затрусил по полянке в тайгу.

Расков долго глядел ему вслед.

Потом запахнул пальто и устало зашагал на рудник.

...Перед дневной сменой в нарядной, где обычно можно услышать все поселковые новости, горняки вели такой разговор:

— Раскова медкомиссия списала.

— Но ему, говорят, предложили работу на поверхности, с хорошим окладом.

— Отказался... И все же Ивана Степановича направили с оловянного рудника на каменный карьер.



Сталинградский фронт. Сентябрь 1942 года.
Шел девятнадцатый год жизни лейтенанта
Раскова.



Комиссара Афанасия Матвеевича Свирина солдаты видели в бою бодрым, неутомимым.



...И вспомнил Иван Расков, как из Омска на фронт отправлялся эшелон, как полковник Леонтий Николаевич Гуртьев напутствовал командира полка майора Григория Ивановича Савкина.



Политрук Иван Федорович Корнеев был в роте старшим по возрасту. Он умел вдохновлять бронейщиков чутким словом и личным примером бесстрашия.

ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Огромный карьер... В горе нарезаны уступы, словно гигантские ступени. Выше, выше... По краям они сгибаются, сливаясь одна с другой и образуя каменный серпентин. По нему машины карабкаются на гору, все глубже вгрызаясь в ее каменную грудь. Ударно-канатные станки бурят скважины, мощные экскаваторы подают руду. Тяжелые самосвалы, груженные рудой, рыча, взбираются наверх и с ревом мчатся к обогатительной фабрике. Машины, машины... Сколько их здесь! Кругом электрические провода.

По ночам огни карьера горят россыпями, сливаются со звездным небом, и кажется, что карьер лежит на краю земли. В таежной тишине далеко слышно его дыхание.



Расков дышал с карьером в одном ритме. Он уже стал ему родным, любимым, как прежде рудник.

Тот же таежный край, такое же нелегкое, важное дело. Словом — передний край.

Есть одна разница: в Хинганолове — открытые разработки. Медкомиссия не страшна.

Так думал Расков.

И все здесь ему нравилось. Дворец культуры. Парк. Стадион. Бассейн. Проспект, обсаженный деревьями. Трехкомнатная квартира. Чудесный садик, который, правда, с трудом достался: пришлось две недели выбрасывать камни и возить на каменистую гору землю. Но теперь, в летнюю и осеннюю пору, сад радуется всеми красками ярких цветов — живое украшение этого чудесного края.

Все хорошо!

А главное — работа. Она захватила Раскова.

Она началась с трудного. Смена, начальником которой назначили его, не украшала карьер. Перебои, срывы, авралы...

Но у Раскова уже был опыт. Опять стал созывать пятиминутки. Однако люди в смене были очень разные. Кое на кого даже «проработка» на летучке не действовала. Как их подтянуть? Может, ежедневно выпускать «молнии»? Пусть карьер, поселок, семьи рабочих — все знают, кто как работает. Может, это ударит по самолюбию тех, кто трудится с ленцой? Глядишь — возмутятся за ум.

И на другой день у входа в парк, в проходной горного цеха, собирались рабочие. Они читали:

«Равняйтесь на лучших машинистов экскаваторов Шалагина и Брылева!

Работайте, как машинисты буровых станков Грицан и Могильный!»

А дальше фамилии нерадивых.

И пошло. Каждый день.

Встретит кто на улице Шалагина, кричат:

— Привет, Алексей, поздравляем!

Поздравляли жен. Даже ребятишки в школе говорили о «молниях».

— Петька! Твоего отца опять в «молнии» хвалили.

Все удивлялись, с какой пунктуальностью и быстротой выпускают эти листовки. Никто не знал, что это Расков, придя со смены, пишет их по ночам.

Вроде несложное и пехитрое дело, эти пятиминутки и «молнии», а сказались они крепко. Каждую рабочую минуту взяли на учет, работа каждого человека была на виду. В «молниях» все реже стали появляться имена нерадивых. Кому хотелось в них числиться?

Показатели смены круто пошли в гору.

Спустя два месяца утром к рабочим пришли секретарь партбюро комбината Миронов, с ним председатель рудкома Вальков. Собрали рабочих смены и торжественно вручали переходящее Красное знамя.

Лучшая смена!

Это была большая радость.

В один из дней вызвал его начальник цеха и представил ему молодого специалиста.

— Знакомьтесь. Это — Анатолий Петрович Приданцев. До назначения на самостоятельную должность он будет работать с вами. Надо его подучить.

Теперь Расков не только учился работать. Он сам стал учителем. Капли своей жизни, своего опыта он должен вкладывать в жизнь товарища.

Расков помог Приданцеву расставить людей и технику, объяснял, как необходимо организовать рабочее место горняка.

И наконец, пришел день, когда Расков сказал:
— Анатолия Петровича можно назначить начальником смены.

Секретарь парткома спросил:

— А не рано?

— Справится,— ответил Расков.

— Хорошо, только надо взять над ним шефство. Это вам, как члену парткома, партийное поручение будет.

Расков решил вызвать молодого мастера на соревнование.

Соревновался и помогал ему. Приданцев часто обращался к Раскову за советом, за помощью. Порой и ночью Иван Степанович шел в карьер, чтобы помочь товарищу. Иногда по две смены не выходил из карьера. В поселке шутили:

— Не разберешь, какая смена Раскова, какая Приданцева.

Ученик оказался способным. Вскоре по карьере прошел слух:

— Приданцев догоняет Раскова.

Когда Ивану Степановичу об этом говорили, он отвечал:

— Разве моя смена стала хуже работать?

— Зачем? Та стала лучше работать. Смотрите!

Расков смеялся:

— Смотрю!

И добавлял:

— И радуюсь!

Он был искренне доволен успехами смены Приданцева. Но то, что она догоняла его смену, его беспокоило. Ведь это означало, что его обгоняют по темпам роста добычи руды. Значит, в его смене они не так уж высоки.

Над этим стоило задуматься. Следовало потолковать с людьми.

А тут еще история с Морозовым...

Расков любовался его работой. Экскаватор двигался как умное живое существо. Казалось, он все видит, все чувствует. Его огромный ковш зубьями, словно щупальцами, безошибочно забирал намеченные комья, а потом точно их клал в кузов, чтобы загрузка самосвала была равномерной. Экскаватор не делал ни одного лишнего движения: все происходило быстро, расчетливо.

Так мог работать на экскаваторе только человек, который «срастается» с машиной.

Да, за штурвалами машины стоял большой мастер.

Расков взглянул на часы. Он ждал.

По уступу шли три человека. Смена. Экскаваторщик остановил машину. Они стали ее по-хозяйски осматривать, а машинист подошел к Раскову:

— Все, Иван Степанович, отработал последнюю смену.

— Вы это твердо решили, Павел Иванович?

— Твердо!

— Зря...

С карьера шли вместе.

— Если бы меня спросили, что случилось, я бы даже не знал, что сказать,— говорил машинист.— Были у меня, видели. Перестали мы с ней понимать друг друга, чужими людьми стали.

— А дети вам тоже чужие? — глухо спросил Расков.

— Детей жалко. А ее... Что жалеть? Чуть скажешь что — ссора. Житья не стало, мука. Вот сейчас надо домой идти, в дорогу собираться — ведь завтра уезжаю, а идти домой неохота.

— Может быть, ко мне зайдем? — предложил Расков.

— Можно,— не задумываясь, ответил Павел Иванович.

Расков много раз беседовал с этим машинистом и его женой. И пока не видел пути к миру в этой семье. Казалось, машинист и его жена стали чужими друг другу.

Ничего не осталось: ни любви, ни привязанности. Как их восстановить? Что может снова сблизить, сроднить?

Не торопясь, пили чай и тихо разговаривали. Расков думал: что же делать? С машинистом беседовала Людмила Александровна.

— Вы сразу четырех человек делаете несчастными: себя, жену и двоих детей. Представляете ли, что такое для ребят отец?

Она вдруг повернулась к Раскову:

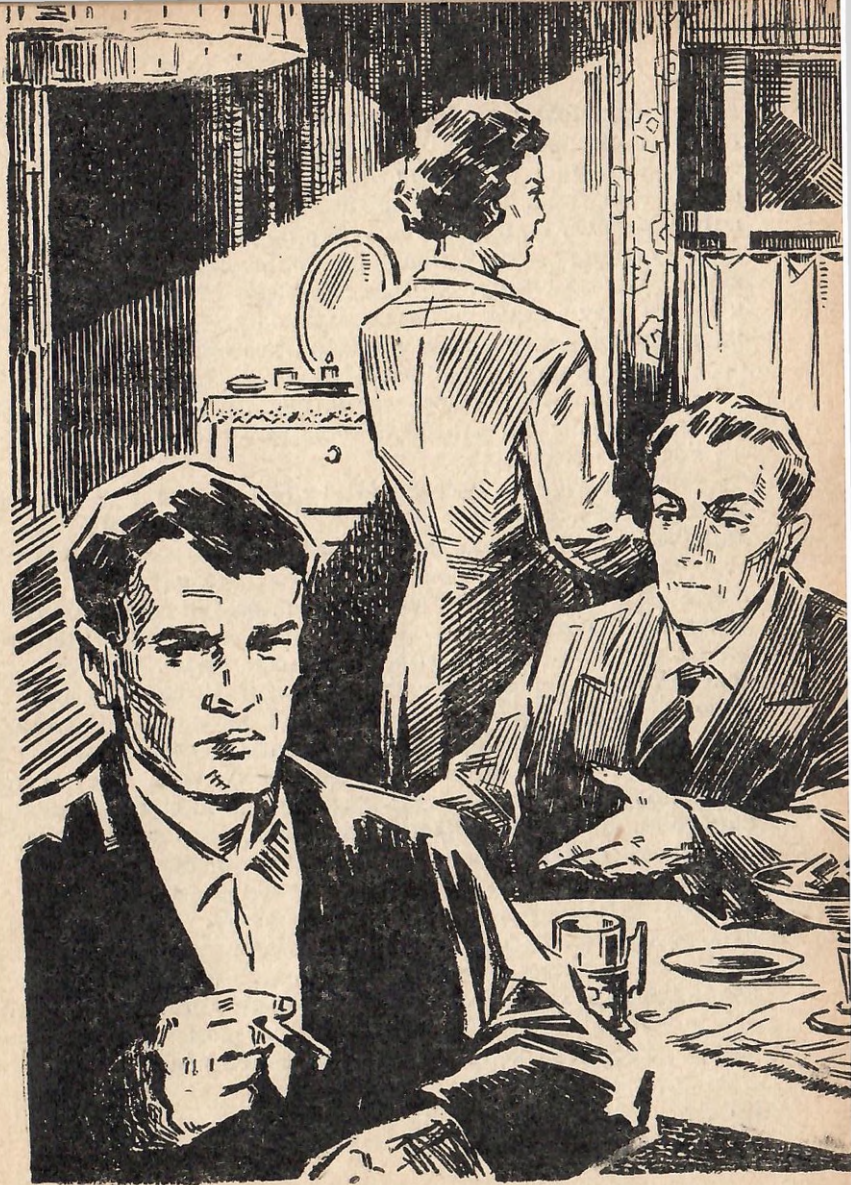
— Ванюша, расскажи ему свою историю.

Расков взглянул на машиниста: может быть, стоит?

— Хорошо,— протянул он,— я вам расскажу свою историю. Закурим поначалу?

Закурили.

— С тех пор как помню себя, всегда рядом с собой видел свою мать,— начал Расков.— У всех ребят были отцы, а у меня его не было. Допытывался у матери: «А мой-то где батька?» Отвечала: «Помер». Любил ее спрашивать: какой он был? Кем работал? А она: «Высокий, строгий, сильный и умный. Тракторист, комбайнер. Вся округа им гордилась. Да вот простудился». И я всем ребятам с гордостью рассказывал: вот какой у меня батька был. Обидит кто, плачу, а про себя думаю: «Был бы батька, разве бы кто обидел? А мать... Разве ей с ребятами справиться». И верите ли, Павел Иванович, в минуты, когда нам с матерью тяжело было, даже разговаривал с ним, с мертвым, как с живым: «Приди, батька, помоги нам с мамкой». Чуть напроказишь, мать с упрёком: «Если меня не слушаешь, то хоть бы памяти отца устыдился». И я со стыда готов был стореть. В детстве от многих худых дел память об отце меня предохраняла: стыдно было отца. Мне казалось, что он словно все видит и головой качает: «Не делай так, сынок!» А когда повзрослел, как познакомлюсь с хорошим человеком постарше себя, так вижу в нем отца.



Был у нас политрук Корнеев, омский рабочий. Душа-человек. Я всегда отца в нем родного видел. Был пожилой солдат Кузьмич. Глядел на него и думал: вот таким небось был и мой отец. Профессор, бывало, прощупывает лицо, а я закрою глаза, и кажется — это пальцы отца, и он говорит: «Бедняжка ты у меня, Ванюшка, как тебя изуродовали». Прямо скажу: святым для меня стал отец. А ведь я его ни разу в глаза не видел, только одной памятью о нем жил. Вот что такое отец, когда он достойный!

— Я понимаю, — протянул Морозов.

— Но это еще не все, — заметила Людмила Александровна. — Слушайте, что было дальше.

Расков продолжал:

— Я часто упрашивал мать: «Поедем на родину, на могилу отца». Она ни в какую: «Тяжело мне там будет». Мал был, верил ей, а подрос — стал сомневаться: «Ведь там ее родные, почему же мать не хочет туда ехать?» И вот, когда по ранению вернулся с фронта, решил сам в родную деревню Новониколаевку поехать. Было это зимой. Деревня от станции далеко. Пришлось заночевать по пути, в деревне Новокусове. Где остановиться? Постучал в крайнюю избу. Дверь открыла пожилая женщина. Сели за стол. Тусклый свет керосиновой лампы. Невеселая беседа. Она говорит: «А у меня сын и брат на фронте. Письмо от брата получила. Да вот беда: неграмотная я. Ответ за меня написали. Теперь на конверте адрес написать надо. Может, напишешь?» Взял я из ее рук конверт и фронтовой треугольник с обратным адресом — с номером полевой почты. Читаю: «Раскову Степану Степановичу». Я задумался: «Не родственник ли?» Хозяйку решил не спрашивать. И сам не назвал. Зачем? Раз мать не хотела сюда ехать, значит, что-то есть. А на имя того Раскова послал письмо. «Уважаемый Степан Степанович! Проездом был у вашей сестры, надписал конверт вам, узнал про вас и заинтере-

совался: кто вы? Не родственники ли мы с вами? Меня зовут Иван Степанович, я тоже Расков. Отец мой умер, когда я был совсем маленький. Живу с матерью. Зовут ее Александрой Савельевной. Урожденная Веселова. Мы родом из деревни Новониколаевки. Будет время — напишите. Если мы родственники — хорошо. Однофамильцы — тоже неплохо. Будем друзьями. С уважением Иван Расков».

Через месяц получаю ответ. Вскрываю конверт и уже первая строчка письма заплясала перед глазами. Читаю: «Дорогой сын!»

— Живой оказался? — прошептал Морозов. — Как это могло быть?

— Представьте себе! У меня в горле пересохло. Слова сказать не могу. Молча протягиваю письмо матери. Она отвернулась. Потом села рядом со мной и рассказала, как было дело. После родов заболела. И тогда отец от нее отказался. Спрашиваю: «Почему же ты двадцать лет скрывала от меня правду?» А она: «Если бы ты знал ее, то плохо бы об отце родном думал. А зачем? Я хотела, чтобы ты считал, что от сильного дерева пошел, дорожил родством и чтил память отца. Это тебя сильнее делало, добрее. А мне помогало тебя воспитывать. Скажи, сынок, разве я была неправа?»

— Сильная была женщина, — протянул Морозов. — Тяжелую историю вы мне рассказываете.

— Самое тяжелое меня, пожалуй, ждало впереди, — продолжал Расков. — В письме отец писал: «Когда демобилизуюсь, непременно повидаемся. Заеду». Стали переписываться. Как-то получаю письмо: «Ваня, еду на дальневосточный фронт. Живой останусь, буду возвращаться, заеду». И письма прекратились. Кончилась война, а о нем ни слуху ни духу не было.

— Небось погиб?

— И я так считал. Горевал. Какой-никакой, а все-таки отец. И если сделал плохое, то двадцать лет назад. Может быть, потом всю жизнь каялся. А я нашел его и опять потерял. Даже не видел, какой он. В 1946 году зимой решил я снова навестить Новониколаевку. Был январь, стояли морозы. По дороге в одной из деревень заехал в чайную обогреться. Большой деревянный дом, просторно. Длинный стол, огромный самовар. Попил чаю. Вижу: в углу, на скамье, сидит солдат. При нем костыли. Выходит, своего встретил, фронтовика, инвалида. Подошел, познакомился. Спрашиваю: «Куда едешь?» — «В Новониколаевку». — «Я, — говорю, — тоже туда. Я ведь тамошний». — «Да ну? А как тебя звать». А я ему: «Да ты все равно не знаешь. А ты кто?» — «Неробов». — «Не Марии ли, — говорю, — сын?» (Это та женщина, у которой я ночевал в деревне Новокусове.) — «Точно, — говорит, — ее сын». — «Ну а я, — говорю, — Расков». — «Не Иван ли?» — спрашивает. «Иван». — «Так ведь твой отец там живет». Я даже не поверил. «Разве, — говорю, — он жив?» — «Жив, — отвечает, — здоров. Демобилизовался, в колхоз вернулся. Бондарем работает. Хороший бондарь». Что ж, расстался с ним, еду в колхоз «Победа». Нашел дом, где отец живет. Хожу вокруг дома, а зайти не решаюсь. Что тут в сердце моем творилось! Представляете: тут живет человек, на которого я, можно сказать, двадцать лет молился. А он? Оказывается, просто-напросто и знать меня не хотел. Раз бросил. Нашел. И опять бросил. Когда демобилизовался и ехал с Дальнего Востока, что стоило заглянуть в Томск, где я жил? Нет, проехал мимо. Потом понял: силы воли у него не хватило, чтобы признаться в своей ошибке, поглядеть мне в глаза. Что я передумал, что перечувствовал, когда ходил вокруг этого дома, и передать невозможно. Может, и отца встречал, но проходил мимо. Ведь не знал его. И что же? Не зашел. Не решился. Уехал в Томск.

Живу там месяц, другой... А отец из головы не выходит. Понимаете: двадцать лет кумиром моим был, и вот он, не мертвый, а живой, совсем неподалеку. Родной и чужой... Не утерпел я. Говорю матери: «Поеду». Она: «Поезжай, все-таки он твой отец». А у меня гостил кореш мой, фронтовик Дмитрий Апанасов. Говорю: «Митя, поедем вместе». — «Поедем, — говорит, — интересно». Приехали. Еще зима была. Поднимаемся на крыльцо, входим. Дома две женщины. Пожилая, понял — вторая жена его, и молодая, Надей звать, дочь — думаю. Смотрят, ждут, что мы скажем. А я смеюсь (а самому совсем невесело): «Что-то вы нас плохо принимаете!». Молодая в ответ: «Не знаем, кто вы? Много мимо деревни ходят». Тогда я говорю: «Расков я, Иван». Они остолбенели. Потом засуетились, не знают, что сказать, что сделать. Жена отца начала пельмени стряпать. А я смеюсь: «Помельче делайте, а то рот-то мне слепили маленький». Ждем отца. От нечего делать в карты с Надей играем. Сидим у окна. Кто идет мимо, спрашиваю: «Отец?» Она: «Нет». Потом показывает: «Вот он идет». Вижу, шагает мужичок в старой шинели, солдатской шапке-ушанке, за поясом топор. Тот, которого я боготворил. Оказывается, обыкновенный мужичок. Совсем не таким я себе его представлял. Входит, здоровается, сбрасывает шинель, шапку, садится на лавку, закручивает сигарку из махорки. Никакого значения нашему приходу не придает. Мало ли, дескать, прохожих военных погреться заглядывают. А женщины с меня глаз не спускают, вижу, волнуется: что будет? Я тоже сам не свой. Но вида не подаю. Играю в карты. Однако пора было с этим кончать.

Закруглил кон, поднялся, подошел к нему и говорю: «Ну, что же, отец, давай знакомиться, я сын твой Иван». У него сигарка из рук выпала, бросился мне на грудь...

Расков отвернулся и замолчал: волнение сжало горло. Ни Людмила Александровна, ни Морозов не решались нарушить молчание.

— Что я могу сказать об отце? — тихо продолжал Расков. — Человек он добрый. И мать любил. Но когда я ей говорил это, она отвечала: «А что толку от доброты, когда у человека нет силы воли ее в жизни применить. Живет она в нем и хиреет. Толку от нее людям никакого». Она была права. Я часто думаю об отце и о матери. Два человека — два характера, две судьбы. Мать твердо шагала по жизни. Она хорошо знала, что от нее ждут. И когда в жизни приходилось делать крутой поворот, умела пройти по крутизне и всегда выходила из трудного положения и еще выводила тех, кто с ней рядом был, скажем меня. А отец? Он боялся смотреть правде в глаза, если она была суровой. Из-за безволия его и семья развалилась. Матери, мне, да и самому себе — всем нам жизнь подорвал...

Расков снова умолк. От волнения лицо его покрылось белыми пятнами, и на нем резко выступили швы. История эта взволновала и Морозова. Она словно показала ему, что его ждет. Он вытер вспотевший лоб и протянул:

— Тяжелая история.

— Нет, пожалуй, самое тяжелое впереди, — ответил Расков.

— А что еще? — почему-то испуганно спросил Морозов.

— А вот что. С той поры я не раз бывал у отца. Ездил к нему вместе с Людмилой Александровной и вот что скажу: нет у меня к нему никакого сыновьего чувства. Чужие мы с ним люди. И я много раз задумывался: видно, мать права — лучше было мне не знать правды. Считал бы, что отец умер, что это был такой человек, какого не сыщешь. Я бы преклонялся перед его памятью...

Расков помолчал и сказал:

— И вот представьте себе, Павел Иванович, вы уехали. Пройдут годы, ваш Васютка подрастет, и о вас скажет: лучше бы...

— ...отец умер, — тихо закончил Морозов.

— Ну зачем так? — поморщился Расков. — Я не желаю отцу смерти. Я говорю, если Васютка скажет: «Лучше бы не знал правду про отца, думал, что его нет, и считал бы, что это был замечательный человек, замечательный отец». Ваш поступок очень напоминает историю с моим отцом. Не хватает у вас силы воли, чтобы наладить семью. Убегаете, боитесь смотреть правде в глаза...

Морозов молчал.

— Что вы на это скажете? — спросила Людмила Александровна.

Он вытер пот, выступивший на лбу, поднялся и тихо сказал:

— Подумаю.

— И крепко подумайте! — посоветовала Людмила Александровна.

* * *

Расков, как обычно, рано вышел на работу. На краю улицы стояла грузовая машина, которая по утрам отправлялась на железнодорожную станцию. Она уже тронулась. Но дорогу ей загородил бежавший навстречу Морозов. В руках он держал чемодан. Он забросил чемодан в кузов и следом вскочил туда сам. Обернулся на поселок и вдруг увидел Раскова. Смутился, снял с головы шапку и, помахав, крикнул:

— Прощайте, Иван Степанович!

Машина снова тронулась, на углу повернула и скрылась за домами.

Уехал!..

Смена Приданцева уверенно догоняла смену Раскова.

Конечно, во многом сказался отъезд Морозова.

Экскаваторщик — ведущая фигура на руднике. Добыча руды зависит от того, сколько экскаваторы смогут поднять ее и погрузить в самосвалы. Экскаваторов — единицы. Работа каждого важна. Стоит хотя бы одному ослабить ее, и показатели смены резко падают.

Морозов был прекрасным экскаваторщиком. Вместо него на экскаватор пришлось посадить молодого машиниста. Производительность у него намного ниже.

Расков стал все чаще задумываться: а нельзя ли ускорить работу машин? Правда, он не занимался регулярно рационализацией. А так, от случая к случаю. Когда видит узкое место, тормозящее работу, и его требуется устранить...

В Умалъте, когда Раскова назначили начальником взрывных работ, пришлось задуматься над способами взрыва. Применяли обычно или огневой или электрический. При горизонтальной проходке все шло нормально, а при восходящей электрический способ не давал нужных результатов, ведь в забоях бурили несколько шпуров, к каждому тянули свой электропровод, взрывы были не одновременными, электрические провода рвались, часть зарядов не срабатывала. Электрический способ в данном случае был неэффективен. А применять огневой, когда снизу вверх надо было тянуть длинные зажигательные провода, было небезопасно.

Расков задумался: а нельзя ли применить электроогневой способ? К детонаторам подвести короткие зажигательные шнуры, концы их соединить в один зажигательный патрон, к которому подключить электрический про-

вод. Тогда все встанет на свое место. Ток подожжет патрон, огонь от него пойдет к детонаторам. Все заряды сработают. Так будут устранены недостатки электрического способа.

Замысел признали хорошим. Но как его осуществить? Нужно сделать зажигательный патрон с мостиком накаливания. Ток, проходя по мостику, должен накалил его и поджечь смесь, которой будет начинен патрон. И какую взять зажигательную смесь? Ее тоже надо создать, придумать!

Расков взялся за это дело. Патрон сделать было сравнительно нетрудно. Рассчитал сопротивление мостика, чтобы он накаливался при имеющейся силе тока. Но смесь... Ее создать было сложнее. Расков подбирал ее, испытывая нагревом. В одном из опытов не рассчитал, перегрел, и она воспламенилась. Ему обожгло лицо (опять лицо!). Он подлечился и снова взялся за дело. Выехал в поле, проверил изобретение. Патрон сработал точно: шнуры воспламенились.

Тогда он спустился со своим изобретением в забой. Заложил Иван Расков в шахте 16 зарядов. Сам включил рубильник и считал взрывы... 16! И ничто не было нарушено: ни полок, ни ходы сообщения.

На конкурсе, объявленном по рудоуправлению, Раскову присудили первую премию.

Это было первое в его жизни важное рационализаторское предложение.

И вот здесь, в Хингане, надо было тоже придумать что-то очень важное, что помогло бы улучшить дело.

■ * *

Расков наблюдал за работой шустрого белобрысого паренька, который заменил Морозова. Он снял шапку,

лоб его покрылся испариной. Управлял экскаватором ловко.

«Неплохим станет машинистом,— подумал Расков.— Но когда это будет? А пока...» Пока Морозова недостает. Что ж, паренька надо подучить, поддержать.

Расков выждал, когда самосвалы сменялись у экскаватора, и крикнул машинисту:

— Как дела?

— Ничего,— ответил паренек.— Одно плохо: самосвалы задерживают. Жди, пока сменятся. Вот если бы погрузку вести на обе стороны экскаватора, быстрее дело пошло бы.

Расков задумался: «А ведь он прав!»

Как же раньше не обращали на это внимание? Пришел новичок, свежим глазом сразу подметил.

В самом деле: с одной стороны от экскаватора тянется электрокабель, здесь грузовики пройти не могут. Они становятся с другой стороны экскаватора. Ожидая погрузки, простаивают в очереди. А пока сменяются, простаивает экскаватор.

Чтобы самосвалы могли подходить и справа, и слева к экскаватору, следует убрать кабель. Но куда убрать? А если его поднять, чтобы самосвалы могли проходить под ним?

Весь вечер Расков что-то чертил, высчитывал. А потом показал чертеж Людмиле Александровне. Ведь она работает в управлении комбината инженером по рационализации.

На листе бумаги были начерчены ворота на подставках.

— Что это? — спросила Людмила Александровна.

— Передвижные опоры. Поверху пустить кабель. Тогда самосвалы будут проходить, как в ворота, и становиться по обе стороны экскаватора. Передвигается экскаватор, и тут же за ним ставятся опоры...



На всю жизнь И. С. Расков сохранил память о замечательном человеке, хирурге-художнике Александре Эдуардовиче Рауре.



Расков видел многое. Он видел утро, приволжскую степь, объятую ураганом войны, и среди огня и свинцового ливня — зеленый клен. Жив ли он? Жив!



Только что в карьере произошел массовый взрыв — работа смены горного мастера И. С. Раскова.

...Получив письмо, Людмила Александровна позвала дочку:
— Танечка, послушай, что пишут о нашем папе.



Людмила Александровна проверила расчеты — все правильно.

Предложение горного мастера Раскова обсудили на техническом совете. Одобрили его единодушно.

Смена Раскова первой на карьере применила опоры. Производительность экскаваторов повысилась на тридцать четыре процента. Смена обогнала остальные.

Но Расков тут же помог использовать опоры и в смене Приданцева, и снова эта смена вышла вперед. Чувствовалось, что нет на участке Морозова.

Казалось, что смена Раскова отстанет, но из смены Приданцева неожиданно выбыл ведущий машинист: уехал к сыну на Урал. Смена резко снизила показатели.

Расков еще чаще стал бывать там. Однажды после работы он задержался у Приданцева. Шел домой усталый, недовольный собой, тем, что бессилён помочь товарищу.

Подошел к дому, открыл дверь и застыл. За столом сидел Морозов.

— Вернулся! — кивнув на него, улыбнулась Людмила Александровна.

— Прямо скажу: два месяца маялся, — признался Морозов. — Как подумаю о семье, ваша история на память приходит. Все вижу отца вашего, и Васютка мой стоит перед глазами. Эх, думаю, что же ты наделал, Павел, с какой совестью жить-то будешь? Не выдержал. Вернулся домой с покаянием. Жена радехонька. А ребятишки... Облепили меня. Так что дома все уладилось. Пришел к вам с просьбой: опять зачислите меня, пожалуйста, в вашу смену.

Расков прошелся по комнате. Конечно, возвращение Морозова сразу положительно скажется на делах смены. А смена Приданцева? А судьба молодого машиниста? Надо его снимать с машины, переводить. Он только-только начал, как говорят, «оперяться», и вдруг оттолкнуть его?

— Павел Иванович, — сказал он, — вы должны идти не в мою смену, а в смену Приданцева.

— Как так? — изумился Морозов. — Прямо вам скажу, Иван Степанович, роднее брата вы мне стали. Или в вашу смену, или забираю жену и ребят и уезжаю совсем.

— Не горячитесь, — протянул Расков. — Смене Приданцева угрожает прорыв. Если дальше так пойдет, как сейчас, она даже не выполнит план.

— А ваша смена как?

— В моей смене все в порядке. Вы думаете, я уговаривал вас остаться из опасения, что моя смена отстанет?

— Я так не думал...

— И правильно... Идите в отдел кадров и скажите: в смене Приданцева временно машинистом работает помощник, поставьте меня на тот экскаватор. А о нашем разговоре, о том что вы просились ко мне, а я посоветовал вам идти к Приданцеву, прошу вас, никому ни слова.

Морозов с недоумением взглянул на него.

— Чудной вы человек! Таких еще не встречал. Делаете той смене доброе дело и — никому ни слова...

Расков рассмеялся.

— Люди узнают, чего доброго, кто-нибудь и не поймет, что я так поступаю в интересах дела и скажет: «Расков красивый жест делает». А это не так. Той смене вы нужнее.

— Смотрите, мы вас обгоним, — хитро блеснув глазами, предупредил Морозов. — Я так соскучился по машине, так возьмусь за работу...

Расков улыбнулся:

— Вот и хорошо!

— Вы можете первенства лишиться, премии...

Расков засмеялся:

— А это — посмотрим!

Смена Приданцева снова догнала смену Раскова. Обе смены, как говорили на руднике, шли ухо в ухо.

Решали последние дни. Каковы же их итоги?

На заседании рудкома было многолюдно.

Все ждали, что скажет председатель рудкома. Он поднялся и объявил:

— Первенство и переходящее Красное знамя присуждается смене Приданцева.

Расков первый поздравил товарища. И, шутя, сказал:

— Ну, теперь держитесь, Анатолий Петрович!

Но соревнование этих смен, за которым с интересом следили горняки, неожиданно прервалось. Раскова назначили начальником участка вскрышных работ. Пришлось и здесь немало поработать, но дело пошло на лад. Мастера И. С. Раскова занесли в Книгу почета.

Но в один из вечеров Расков вернулся домой сам не свой.

— Ты чем расстроен? — спросила Людмила Александровна.

— Ожидается медицинская комиссия: карьер объявлен опасным по силикозу. Она меня и отсюда спишет.

И как всегда в тяжелые минуты, он сел за стол и сжал голову руками.

Людмила Александровна обняла его:

— Что заранее-то горевать, Ванюша! Ну, а уж если спишут — найдешь другую подходящую работу.

— Подходящую! — с горечью повторил он. — Помнишь, когда мы только познакомились и я сказал тебе, что хочу быть на переднем крае, ты предупредила меня: «Трудно будет шагать вровень с другими». Я все больше убеждаюсь, как ты была права.

ГДЕ ЖЕ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ?



Собрание подходило к концу. Разговор вели важный: о делах карьера. Однако не было той взволнованности, которую хотел видеть Расков. План из месяца в месяц не выполняли. Все выступавшие признавали, что недостатков в работе немало. Но говорили о частностях: простоял экскаватор, задержали отправку щебенки, недогрузили дробилку... А вот основное — почему все эти неполадки происходят — обходили. Расков теребил листок бумаги с тезисами: выступить или нет? Можно смолчать, дождаться конца собрания и уйти домой... Но нет, стоит заговорить о том, что пережито им в течение последних дней. Выступить так, чтобы

взволновать коммунистов,— убедить их в возможности улучшить дело в карьере, это не легко. Это битва.

Битва после новой, девятнадцатой, пожалуй, самой тяжелой операции, какую он только что перенес. Когда он вышел из больницы, на работе говорили: «Раскова, наверно, с карьера спишут».

И он понимал: могут. Могут списать. Ну что же, надо пережить и это. И он уверен — сил хватит. Но хватит ли сил у Люды? Она столько натерпелась... Правда, она говорит, что, если бы он был другим, ей скучно было бы жить. Но может быть, она это говорит, чтобы его поддержать? Она всегда находит такие слова, которые придают ему силы. Удивительный человек!

Когда он впервые ее увидел, она ему показалась такой женственной, нежной. Голубые доверчивые глаза, круглое румяное лицо, на щеках ямочки. Улыбка белозубая, светлая, мягкая.

Разве тогда он мог предполагать, что у нее столько сил, мужества?

И, если надо будет, Людмила опять (в который раз!) сложит чемоданы и поедет за ним куда угодно. Ни слова упрёка он от нее не услышит. Как тогда...

Был тихий вечер. В окно лился ровный шум тайги. Кака-то птица не могла уснуть. Издалека доносилась ее унылая песня. Где это было? В Умальте? В Хингане? Нет, в Солнечном. За окном тянулось глухое ущелье. До ночи было далеко. А здесь уже царил сумрак. На дне ущелья лежали темные, почти черные тени. Над ними громоздились синие скалы. Вершины гор были окутаны розовой дымкой. И над всем этим раскинулась щедрая бирюза предвечернего неба. Сколько красок, свежих, чистых, омытых прозрачным воздухом!

Что это все напоминало? Кавказ, Швейцарию, которые Расков видел на снимках или в кино? Нет. Это был Даль-

ний Восток. Ни один другой уголок земли не повторяет его, и повторить его нигде нельзя. На земле есть только один такой.

...После заключения медкомиссии Раскову предложили работать в управлении комбината «Хинганолово». Пробыл там два месяца. Какими долгими они ему показались! Не выдержал. Пришел к директору комбината: «Прошу перевести меня на производство».

— Создается новый рудник. Поедете?

— С удовольствием.

— Предупреждаем, трудно там. Глушь... Даже нет жилья...

— Не страшно...

Он сжал туда по глубоким снегам. Стояли трескучие морозы. Бушевали метели. Машины вязли. Их вытягивали, прокладывали дорогу бульдозерами. Отвоевывали метры пути. Горы с каждым километром сжимались, становились круче, обрывистее. Дорога привела к глухому ущелью. Здесь стояло несколько рубленых домиков, занесенных снегом. Поодаль чернел недостроенный барак. Одинокие дымки в морозном воздухе. Вот и весь поселок. Связь с Большой землей — по радио. Маленький, оторванный от нее мирок. Жили в бараке. Железная печка скупо обогрела его. Ночью приходилось с головой залезать в ватные спальные мешки.

Вначале Расков думал, что здесь нашел работу, какую искал: трудную и интересную. Снова нехоженная таежная глушь. И рудника еще не было. Брали пробы руды и бульдозерами на волокушах тянули ее на дорогу, а там грузили на машины и везли на анализ и обработку. Добывали «крупницы» — мешки. Пока больше не требовалось. А потом и эту добычу прекратили. А поселок рос. Расков

переехал в благоустроенный домик. Бытовые неудобства остались позади.

Проходили недели, месяцы, а Раскову как горняку здесь делать было нечего. Он поехал в Хабаровск, в управление, заявил там: «Мне кажется, что я не на месте. Переведите, пожалуйста». Начальник спросил: «Куда?» — «Куда хотите, — ответил Расков, — только чтобы я горняцкой работой занимался и видел, что получаю деньги за дело». — «Работа есть в Корфовском карьере, — сказал начальник. — Но мы вам ее не предлагаем. Оклад там вдвое ниже вашего. Кроме того, вы лишаетесь надбавки, которую получают работники цветной металлургии». Расков сказал: «Хотя эту работу вы даже не решались мне предложить, прошу дать мне ее, если другой нет». Начальник с недоумением посмотрел на посетителя: «Но тогда вы с женой вдвоем будете получать меньше, чем сейчас получаете один». «Я это уже подсчитал», — улыбнулся Расков. А Людмиле Александровне он сказал: «Я дал согласие. Я не мог поступить иначе. Такой уж я». Она обняла и поцеловала его: «Поэтому я и полюбила тебя, что такой ты».

И вот сейчас здесь на собрании решалось многое в судьбе карьера. Молчать нельзя. Но с чего начать? С того дня, как он приехал в Корфовский карьер и был назначен начальником горного цеха?

...День был весенний, солнечный. А Расков ходил мрачным. Он вспомнил Хинган. Там все продумано. Горизонты, уступы. Карьер гудел от машин. Все было на своем месте.

А здесь? Три карьера — три ямы, на дне их копошились люди. Расков спустился в одну из них. Рослые парни кувалдами разбивали камень.

— Вы что делаете? — спросил он у одного из них.

Тот лениво ответил:

— Не видишь, что ли? Камень долбим...

— А потом?

— Потом будем складывать его в ковш экскаватора.

— Вручную?

— А как же еще?

— Зачем же экскаватор?

— Его дело поднять и погрузить камень в машину.

Расков с удивлением глядел на такую работу.

— Но почему же ковш экскаватора не набирает камень? — спросил Расков.

— Потому, что забой для техники не готов. Да и экскаваторы у нас — старые корыта...

В другом карьере рабочие вообще ничего не делали. Они гурьбой окружили мастера. Тот сидел на камне и подсчитывал выработку. Это был практик, не очень грамотный. Подсчет у него занимал уйму времени.

— Вы превратились в учетчика, — сказал ему Расков. — А кто же будет руководить производством?

— Начальство! — буркнул тот и кивнул на будочку — контору карьера. Крохотная комнатка с одним столом, на котором всегда были разбросаны окурки.

— Как идут дела? — спросил Расков.

— Помаленьку, — протянул мастер.

— План выполните?

Мастер почесал затылок:

— А кто его знает.

Раскова утешало одно: камень здесь замечательный. Гранодиорит. Говорили, что по прочности он приближается к алмазу. Может быть, это и преувеличение, но прочность его редкостная.

Здесьняя тайга ожила давно. В начале века с одной из сопок срубили деревья и срезали кустарники. Как говорят, «побрили» сопку. А потом вспороли верхний трехметровый

слой земли, добрались до каменной груди сопки и начали ее долбить. Мычали волю, скрипели телеги, на которых вывозили камень к Амуру-реке. Звенели кандалы, свистели плети, в воздухе стояли брань, проклятия и стоны.

Карьер невесело начинал свою жизнь.

Но камню его выдалась завидная судьба. Он шел под укладку Транссибирской железнодорожной магистрали и моста через Амур, моста-красавца — гордости Дальнего Востока.

Вскоре Раскова вызвал директор и говорит:

— Главный инженер уходит на пенсию. Думаем вас назначить на его место.

— Я не инженер, а только техник, еще не изучивший как подобает новое производство, — возразил было Расков. Но партийная организация настояла.

И он согласился быть исполняющим обязанности, пока не подберут инженера.

И опять пошли бессонные дни и тревожные ночи. Как на Умальте и Хингане. Стрекот его мотоцикла нарушал таежную тишину и в полночь, и на рассвете. Люди удивлялись: когда Расков отдыхает?

Расков был требователен и к себе, и к другим.

На совещаниях нередко доставалось от него начальнику механического цеха. Она, краснея, отворачивалась. Люди с недоумением глядели на нее, на главного инженера. Как может он так резко говорить с ней? Ведь жена!..

Да, начальником механического цеха была Людмила Александровна. На совещании она часто горячо спорила с мужем. Нередко разговоры о работе переносились домой. Говорили за завтраком, обедом, ужином. Спорили, советовались. Карьер с его делами словно вращался в жизнь семьи. Он стал ей близким, родным.

Расков стремился ввести строгую последовательность горных работ. Вскрыша, бурение, взрыв, доставка камня

на дробилку, дробление, транспортировка из карьера... Одна работа не должна задерживать другую, иначе нарушится поток.

А здесь до потока было далеко. Слишком много порогов лежало на пути. Отставала вскрыша: не попевали снимать породу, обнажать камень. Не успевали бурить. Дело это нелегкое, ведь камень очень твердый.

Расков начал налаживать вскрышу, добился расширения дробильного и механического цехов, погрузочной площадки.

Дела в карьере стали налаживаться. И в конце первого года работы Раскова здесь произошло то, чего давно добились: карьер начал выполнять план. Впервые за последние годы люди стали получать премии.

Надо было закрепить первый успех. Предстояли новые большие дела.

Но в эту напряженную пору беды одна за другой вошли в дом Раскова.

И самая большая — умерла мать. С того дня на его письменном столе всегда стоит ее фотокарточка. Строгое, простое лицо. Прямой взгляд черных глаз. Плотно сжатые, волевые губы.

Она смотрит на него тепло, ласково. Кажется, улыбнется и скажет: «Не горюй, сынок. Никогда человек не должен падать духом». Скажет так же, как в тот день, когда он повез ее в Хабаровск на медицинское обследование.

Она вышла из кабинета врача и тихо сказала:

— Тебя просят зайти.

Он вошел.

Врач, высокий, седеющий, посмотрел на него с сожалением и отвернулся.

— Будьте мужественны, Иван Степанович. Выслушайте то, что я вам скажу. У вашей матери...

Последнего слова Расков не слышал. Он понял, к чему готовил его врач. В эти минуты у него было такое ощущение, словно кто-то рванул тонкую струну, и она качается в воздухе, тянет одну нескончаемую высокую ноту.

Врач поддержал Раскова, усадил в кресло. Расков уронил голову на стол. Он плакал так, как не плакал, быть может, никогда в жизни.

— Держите себя в руках, иначе мать может догадаться, — тихо сказал врач.

— Скажите, сколько она...

Нет, Расков не мог так сказать: сколько она проживет? Он спросил:

— Сколько она будет болеть?

И врач ответил тоже так, словно ей суждено было поболеть и выздороветь:

— Около трех месяцев.

Но ответил очень тихо.

Три месяца! Всего три месяца. А сколько он будет с нею: неделю, две? Ведь в карьере его ждут дела, сотни людей.

Он долго не мог успокоиться.

Вышел из кабинета и, не глядя на мать, сказал как можно спокойнее:

— Тебя вылечат, мама!

— Ну вот видишь, сынок! А ты волновался. Человек никогда не должен падать духом.

И в это же время заболела жена: заражение крови. Выживет ли?

Его Людмилочка. Женщина, которая так смело встала с ним рядом на его трудный путь. Всегда в тяжелые минуты она поддерживала его, ласковая, внимательная. Разве мог он так твердо шагать по жизни, если бы ее не было рядом? Он уже не мыслил свою жизнь без нее, без ее добрых слов, ее нежных, заботливых рук.

Ее жизнь была в опасности. В свободное время, а оно большей частью было по ночам, он приезжал в Хабаровскую больницу, расспрашивал дежурных сестер о состоянии здоровья жены, подолгу стоял около окон палаты, где лежала она. И не мог уйти. Свет из окон словно грел его, и ему казалось, что он рядом с нею.

Но надо было уходить. В другой больнице ждала мать: он бежал туда, узнавал жива ли? И здесь долго не мог быть. Дома — ребенок. Придет, покормит девочку и в карьер.

Он метался между карьером, больницами и домом.

Он не отдыхал в те дни, недосыпал и боялся, выдержит ли сам.

В один из таких дней Расков, перешагнув порог своего дома, почувствовал острую боль и потерял сознание. Его увезла «Скорая помощь».

Врач распорядился:

— Немедленно на операционный стол!

— Ни за что, — сказал Расков. — В больнице — мать, жена. Если узнают... Они обе в тяжелом состоянии. Дома ребенок. В карьере неотложные дела. Какое право я имею о себе думать?

— Право? — удивился врач. — Вам обязательно надо сделать операцию. У вас воспаление желчного пузыря. Это угрожает вашей жизни.

— Пусть лучше угрожает моей жизни, чем жизни других, — ответил Расков.

Он дал расписку, что отказался от операции и предупрежден, что это угрожает его жизни.

И вернулся домой.

Ходил он чуть согнувшись, боясь возбудить боль, постаревший, осунувшийся.

Таким он шел за гробом матерн. Молчаливый, притихший.

Другу своему, Приданцеву, который следом приехал на карьер, Расков сказал:

— Я доволен тем, что нам удалось скрыть от матери, что у нее был рак.

Приданцев печально взглянул на него.

— Теперь я могу тебе сказать правду, — тихо сказал он. — Она все знала. И знала много раньше нас. Как-то она мне говорит: «Толя, ты с Ваней дружи. Дружба — хорошее дело. А Ване она будет нужна без меня. Я-то ведь ненадежная. Если дашь слово, что ни Ване, ни Люде ничего не передашь, скажу. Даешь? Так слушай: дни мои сочтены: у меня рак. А они пусть не знают. Пока живется, надо жить, как все люди живут...» Твоя мать была изумительным человеком, — закончил он.

Все знала. Даже когда он ничего не знал. Позднее в сундуке, под газеткой Расков нашел книги о раке, которые она читала тайком от него и от невестки. И тщательно прятала, чтобы ни у кого из них не возникло подозрение, почему она так интересуется этим страшным заболеванием.

Даже тогда, когда смерть уже стояла у изголовья ее постели, она была жизнерадостной. Бывало, придет Расков усталый, горестный, а она его подбодрит. И ему не верилось, что ее скоро не станет. А когда ее все же не стало, он не мог поверить, что ее нет. Он подолгу смотрел на ее портрет. Она улыбалась, даже в тот день, когда он видел ее в последний раз. И сейчас казалось, выйдет из крохотной рамки, сядет рядом, погладит голову и скажет, как тогда, перед смертью:

«Человек должен быть сильным. Тогда и другим рядом с ним легче живется...»

Расков похоронил мать. Вышла жена из больницы и занялась ребенком. Теперь он мог лечь на операцию.

На карьере толковали:

— Теперь это не работник. Шутка сказать, девятнадцать операций! Остается одно — на пенсию...

Но Расков не бросил работу. Он только попросил, чтобы его перевели на менее ответственную должность. Одно время руководил вскрышей. Надо было снять с сопки леса, кустарник. Вспомнилась ему юность — золотые прииски. Он, школьник, с друзьями помогает золотонскаателям наступать на тайгу. Работа не была в тягость. Наоборот, сколько радости приносила она! Ведь он своей, пусть небольшой работой входил в большую жизнь взрослых людей. Взрослел. Разве это плохо?..

И пошел Расков в школу. Собрал школьников старших классов, поговорил с ними. Они внимательно слушали его. Фронтвик! Герой! Ему ответил хор голосов:

— Мы все пойдем лес рубить.

И кто-то сказал:

— А вы будете у нас старшим, дядя Ваня!

И словно вернулись давно прожитые им годы. Техникум, такие же доверчивые, звездочками горящие глаза ребят...

Конечно, крупный лес рубить ребятам не давали, а мелколесье и кустарник. Но и это помогло делу.

В минуты, свободные от работы, он садился с ними у костра, и они внимательно слушали его фронтовые воспоминания.

Ребята полюбили Раскова, и он тянулся к ним всем сердцем.

Общественная работа — был ли он председателем комиссии народного контроля или членом партийного бюро, членом месткома, депутатом поселкового Совета — приносила ему радость, радость сознания нужности людям.

Семья Расковых жила хорошо, общественно. Людмила Александровна, как секретарь партийной организации карьера, тоже была в гуще всей жизни коллектива. Дом

Расковых открыт для всех. Особенно часто его посещали любители книг. Каждый желающий уносил с собой книгу с маленьким штампом «Из библиотеки Расковых».

Кажется, все хорошо. Но не спокойно, не все благополучно в карьере. План не выполнялся, и никого это не волновало. И во всем виной временная оплата труда. Работая, люди посматривали не в показатели выработки, а на часы: скоро ли смена кончится? Зарплата все равно идет.

...Вот откуда спокойствие на собрании.

Своим выступлением Расков нарушил это спокойствие.

Карьер волновали споры в обеденный перерыв, перед работой и после нее. Одни были против Раскова, другие его сторонниками.

Но от разговоров дело не улучшилось. Единственное, что изменилось, было то, что Расков остался без работы. Должность его сократили. В отделе кадров обещали что-либо подыскать.

И только дома он находил поддержку, созвучные мысли.

— Люда, — сказал он, — ты знаешь, когда я выступал на собрании, против моей критики никто не возражал. Но и никто особенно меня не поддержал. И в результате, как говорится: воз и ныне там. Что делать?

— Никогда не надо останавливаться на полпути, — твердо ответила жена.

— Я был уверен, что ты так скажешь.

В тот же вечер Расков послал письма в редакцию газеты «Советская Россия» и в крайком партии.

Карьер шумел:

— Слыхали, на что пошел Расков? Решил вынести сор из избы. И куда написал! В край!

Да, карьер шумел. Имя Раскова можно было слышать в дирекции, в забоях, в каждом доме поселка.

А дом самого Раскова словно притих. Меньше стало ходить людей сюда. В снегу тропка к нему сузилась: пройдут по ней Расков, Людмила Александровна, их дочурка, иной раз заглянут самые верные друзья. И все. За книгами ходить стали реже. Не то декабрьский мороз не выпускал людей на улицу, не то они избегали Раскова...

И тот вечер был обычный: тихий, скучный. Расков взглянул на часы: пора одеваться.

Людмила Александровна провожала его. Укутывала как ребенка. Всю ночь ему быть в карьере, на морозе.

— Это при твоём-то здоровье,— сказала Людмила Александровна.

— Ничего, Людочка, все будет нормально. Уже декабрь. Скоро январь, за ним февраль... А в марте — солнышко.

Он поцеловал ее на прощание и улыбнулся. Словно нет болей, щемящих, жгучих, и очень легко на сердце. Пусть она спит без волнений.

Он вышел в сени, глотнул морозного воздуха и зашатался от боли. Прислонился к стене, чтобы не упасть. Нет, надо выдержать боль. Работать, работать, работать... Ведь он добивался, чтобы работа шла хорошо. Значит, должен показать пример...

Он вышел и побрел в темноте на огни карьера. Они ярко светили в темноте, окруженные морозным ореолом. И Раскову казалось, что огни очень теплые: стоит подойти к ним, и они обогреют.

Расков спешил, глотая морозный воздух, словно заливая им пожар, что горел, жег внутри.

Вот уже огоньки очутились над ним. Но Расков только на миг заметил их.

Запомнилось: красное, кровавое пятно на снегу, испуганное лицо водителя самосвала и его окрик:

— Раскову плохо! Машину!

Кто-то посадил его в машину, кто-то вывел из нее, раздел, уложил на больничную койку...

Однажды утром сестра доверительно сказала:

— Я ребят видела с карьера. Они очень благодарны вам, что вы комиссию вызвали. Там теперь начали порядок наводить.

— До порядка далеко, — ответил Расков.

— Но теперь пусть его наводят другие. Вам волноваться нельзя. Неужели вы не можете не волноваться?

— Почему? Можно и так, — задумчиво ответил Расков. — Но что это будет за жизнь?

Снова потекли серые больничные дни, длинные ночи.

Через две недели Раскова выписали. Но, проработав несколько ночных смен и выдержав несколько горячих споров, он снова слег.

В карьере говорили:

— Может быть, теперь-то Расков успокоится. Ведь на уколах живет...

Но вскоре в краевой газете появилось его письмо. Расков вновь рассказывал о неполадках в карьере: писал, что техника простаивает, что надо перебросить ее на ударную стройку, если в карьере ее как следует не применяют.

Письмо появилось в подборке писем, озаглавленной «Государственный человек».

* * *

Ночь, ночь, ночь... Смена за сменой. Расков выбивался из сил.

В одну из ночей он зашел обогреться, присел на стул и сквозь шум в ушах услышал разговор за стеной. Кто-то басил:

— Склочник он. И все. Только и знает письмо за письмом строчить.

Женский голос возразил:

— А чем плохо, что пишет? Дитя не плачет, мать не разумеет.

— Но кто его просит писать? Будто без него не знают, что карьер отстает. Будто ему больше всех надо. Будто он больше всех о наших делах печется. Получил персональное приглашение в Хабаровск на совещание мастеров. Вот ведь чего добился! Секретарь крайкома доклад там делал. Расков, конечно, в прениях записался. Разве смолчит? А ему слово не дали. Очередь не дошла, а прения закрыли. И знаешь, что он сделал? После доклада подошел к секретарю крайкома и весь перерыв ему толковал о карьере. Дескать, вот как я пекусь о делах. Выскочка он. И склочник...

Расков поднялся. Это о нем так гадко говорят. О нем! Это он беседовал в перерыве с секретарем крайкома. Расков рассказывал о бедах карьера, и секретарь крайкома тогда сказал: «Мы займемся карьером».

Не о себе думал Расков. Не о склоке! Ложь!

Он хотел это крикнуть, но сдержался.

Вышел, хлопнув дверью.

Вот как расценивают то, что он делал! Не все, конечно, но есть такие. И может быть, немало. Это только одного он услышал случайно. А сколько так говорят, но Расков этого не знает.

Может быть, поэтому тропка к дому его стала такой узкой...

А ведь он через муки шел туда, куда вела его совесть. И какие муки: болезнь, волнения, бессонница, головные боли, ночные смены при его-то здоровье...

Смена за сменой — ночь, ночь, ночь... Словно для Раскова нет больше дня. Они окончательно могут вывести его из строя. И кто знает, может быть, вместо признательности его же и осудят. А он уже будет безнадежно больной

человек. Может быть, кое-кто скажет: «Так ему и надо, выскочке, склочнику»...

Все потеряет: и здоровье, и уважение людей.

Может быть, и в самом деле надо с этим кончать?

И назавтра он написал заявление: «В связи с тем что здоровье мое подорвано и я не могу работать в ночные смены, прошу уволить меня по собственному желанию».

Карьер мигом облетела весть:

— Вы слышали? Расков подал заявление об уходе. Сдался...

* * *

Бушевал метелями февраль. Дни были короткие, ночи мучительно длинные. Расков старался забытья. Но сон бежал от него.

Расков поднялся и подошел к окну. Буран утих. Вдали под звездами чернела волнистая грядка Хихцирских сопкок. А земля изливала голубоватый свет, нежный, готовый, казалось, вот-вот погаснуть. Было что-то загадочное, былинное в черневших вдали, окутанных тайгой сопках, в молчаливом трепетании морозных звезд, в голубой земле, приютившей заиндевший на морозе, притихший таежный поселок.

Какой близкой, какой родной стала Раскову красота этих мест! И карьер, блистающий в темноте ночи золотистыми огоньками, и поселок...

Иван Степанович вспомнил дни, когда весь поселок вышел на работу. Депутат поселкового Совета Расков после работы в карьере первым выходил на улицу с топором и лопатой.

Ему говорили:

— Вы больной человек. Без вас в поселке есть кому работать.

Он, улыбаясь, отвечал:

— Для хорошего дела силы найдутся!

Детские площадки, благоустроенные дороги, новые мосты... Полтора километра одних тротуаров. Стоянка автомашин. И наконец, бассейн! Вывезли семь тысяч кубометров грунта. Дно посыпали песком. Подвели водопровод. И в поселке появилась широкая водная гладь. Трудно передать, какую радость это принесло ребятам!

Улицы стали аллеями. Много сотен деревьев высадили. И у каждого дома цветы: яркие георгины, огромные бело-снежные хризантемы, красные гвоздики, пунцовые дальневосточные пионы, нежные розы, яркие астры, ароматные флоксы, изящные лилии, суровые черные гладиолусы... Созвездие цветов. Стараниями Людмилы Александровны они появились у ее дома и разошлись по всему поселку.

По благоустройству поселок Корфовский занял третье место в крае, выступил инициатором соревнования за благоустройство и культуру поселков в честь 50-летия Великого Октября.

А сколько здесь друзей! Григорий Алдухов, Анатолий Прокуда, Виктор Рудометов... Да разве только они? Эти люди, которым Расковы помогли сохранить семьи, работу. Сейчас Прокуда замечательный машинист экскаватора, член партийного бюро. А ведь когда-то он хотел покинуть карьер...

А теперь Расков, который убеждал людей подниматься над своими случайными порывами, сам попал под их власть и уезжает отсюда...

Он ехал сюда, опасаясь — проходит ли здесь передний край? Проходит. Так же, как на Хингане, Умальте... Борьба, которую поднял Расков против всего, что мешает работать, — это ли не линия огня?

И, не добившись того, чтобы в карьере улучшились дела, Расков уезжает. Он сдался. Спасовал...

И чего доброго, кое-кто, задумавшись над тем, что произошло в карьере, скажет о Раскове: духом слаб!..

Расков нервно берет папиросу и жадно курит. И словно кто-то бьет его по голове. Только успел крикнуть:

— Люда, мне плохо!..

Снова больница.

Жена часто приходила к нему, садилась у постели, подолгу не уходила. Глаза воспаленные, видимо, плакала. А пришла — улыбается.

— Ты ни о чем не думай, Ваня. Выздоровливай. Мы тебя ждем. Помнишь, как поэт писал: «Только очень жди!» И мы тебя очень ждем: я и Таня. Тебе привет передают. Многие, многие...

Она на миг смолкла: нет, многие отвернулись от него. Привет передавали немногие. Но жена хотела сделать ему приятное (она всегда умела в трудные минуты найти нужные слова):

— Очень многие тебе передают привет. И многие будут жалеть, что мы уедем. Ты не волнуйся. Четыре раза переезжали, четыре раза находили работу. Найдем ее и в пятый раз. И куда бы ты ни поехал, мы с Таней всегда будем с тобой. И всегда будем довольны.

— А ты знаешь, я отсюда не уеду,— сказал Расков.

— Не уедешь? — удивленно повторила она.

— Нет. Я ошибку допустил, когда подал заявление об уходе. Начать борьбу за то, чтобы работа шла лучше, не дожидаться этого и сбежать? Это дезертирство. Я сам, своими руками, должен помочь ее наладить.

...Огромные не то серые, не то зеленые глаза из зеркала в упор глядели на Раскова. От уголков веером расходились сети морщин. Как постарел он за эти месяцы! Ничто в жизни не проходит бесследно.

Расков торопливо завязал галстук. Надо было спешить. Его ждали в редакции краевой газеты. Необходимо вы-

читать гранки статьи. Не первая это будет статья о работе карьера! Но, возможно, она поможет завершить дело!

Когда Расков в больнице сказал Людмиле Александровне, что решил своими руками помочь карьере наладить работу, она переспросила:

— Значит, ты хочешь остаться здесь? Но ты же уволен? Надо восстанавливаться на работе. Это новые волнения для тебя.

Расков не обратил внимания на эти слова.

А когда из больницы вернулся домой, вечером раздался стук в дверь. Вошел высокий, уже седой человек, в танкистской куртке, валенках, ушанке... В нем Раскову чудилось что-то хорошо знакомое, фронтовое.

— Журналист Карнаух Александр Емельянович! — представился он. — Я приехал по вашему письму.

Письму? Какому? Расков взглянул на жену. Она отвернулась. Понял: это она писала. Пока он был в больнице, чтобы помочь ему, избавить его от лишних волнений.

В тот вечер долго не гас свет в доме Расковых. Гость сидел за столом и писал. Расков ходил по комнате, временами присаживаясь на диван, и рассказывал.

На лице гостя выступили пятна. Он часто тер лоб. Расков с недоумением глядел на него.

— Плохо себя чувствую, — сказал тот. — Волноваться нельзя. Ну ничего... Продолжайте. Продолжайте. И так... Вы раньше опасались, что передний край здесь не проходит...

— Было дело, ошибался, — ответил Расков.

Борьба за новое, доброе — это ли не передний край? А ее можно и надо вести всюду: на ведущем предприятии и на подсобном. Значит, и передний край всюду проходит.

— Только надо, чтобы он проходил через сердце человека, — тихо заметил Карнаух. — И тогда человек, где бы ни работал, будет на переднем крае.

— ...И отказ от такой борьбы — это уход с линии огня, — продолжал Расков. — Со мной чуть так не случилось.

— Ничего, — сказал гость. — Мы поможем вам.

Прошло два дня. Карнаух вернулся не один. С ним был уже седеющий человек, невысокого роста, в черном пальто с серым каракулевым воротником. Писатель Сергей Феоктистов. И представитель краевого комитета народного контроля, высокий, солидный, также пожилой.

О чем они разговаривали с директором, Расков не знал. Потом Карнаух ходил по карьеру.

— С народом беседовал, — сказал он, встретив Раскова. Вышла газета со статьей о карьере.

И карьер снова всколыхнулся. Но теперь уже все было иначе, чем тогда, когда Расков начинал свой спор. Не было шепотков и наветов, не было гневных выкриков и грозных анонимок.

Приезжали сюда работники райкома партии, знакомились с работой карьера, беседовали с рабочими, советовались, обсуждали работу карьера на бюро райкома.

Расков ждал, как отнесется к статье Ткачев.

Его пригласил директор.

Расков шел, думая о предстоящей встрече. Открыл дверь, перешагнув порог кабинета и, глядя на директора, остановился.

Лев Павлович Ткачев поднялся ему навстречу.

— Ошибались — хватит, — сказал он. — Забудем обо всем, что было за эти месяцы. Мы — коммунисты и по-партийному должны уметь исправлять свои ошибки. Давай вместе бороться за передовой карьер. Принимаемся за работу, Иван Степанович!..

И они крепко пожали друг другу руки.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Расков шагал твердо, по-военному. Не так-то просто сбить его шаг. Нет, недаром он отстаивал свою жизнь. Пригодилась она людям.

Хрустит под ногами ледяная пленка, затянувшая дорогу. Звонко хрустит, по-весеннему. Хорошая нынче весна! Она принесла ему еще одну несказанную радость. Он нашел своих однополчан. Вернее, они его нашли.

Это случилось два месяца назад. Расков прочитал книгу генерала армии А. В. Горбатова «Годы и войны». В ней бывший командующий третьей армией рассказывал, как на его руках в одном из боев погиб генерал Л. Н. Гуртьев. Расков написал письмо Горбатову, просил подробнее рассказать о любимом командире, о судьбе его семьи.

Он даже не предполагал, какую огромную роль это письмо в его жизни сыграет. Весть о том, что получено письмо от человека, которого два десятилетия считали погибшим, дошла до бывшего инструктора политотдела дивизии, одного из авторов этой книги. В течение многих лет он ищет своих однополчан, потерявших друг друга, служит живой связью между ними. Агентство печати «Новости» передало его информацию:

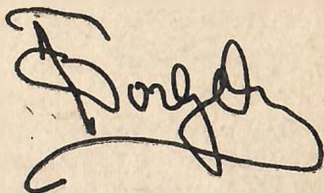
— Найден еще один герой Сталинграда.

И к Раскову устремился поток писем. Пишут однополчане из Москвы, Ленинграда, Минска, Воронежа, Свердловска, Омска, Тобольска, Чимкента, Брянска...

Пишут генералы Горбатов и Чамов, полковники Свириин и Фугенфилов. А сколько писем от политработников, медицинских сестер... Тех, что сражались в гуртьевской дивизии. Вот что они пишут:

Бронебойщик! Вооруженный тяжелым длинным ружьем, он не раз вступал в единоборство с бронированными чудовищами врага. Он смело охотился за вражескими танками и громил их, как истинный гвардеец.

Жму твою мужественную руку, товарищ Расков!



**Иван Богданов,
Герой Советского Союза**

**Туркменская ССР,
г. Ашхабад**

Ты для Хасана дважды брат, мужественный Иван Расков: как воин на фронте и рабочий в карьере. Мы вместе с тобой сражались на Волге и вместе строим коммунизм.

**Жить — Родине служить.
Салям алейкум, русский брат!**



**Хасан Мамутов,
Герой Советского Союза,
ударник коммунистического труда**

**Казахская ССР,
г. Чимкент**

Боевой мой друг Иван Степанович! Жизнь твоя —
подвиг. Так держать!

Яков Зайцев

Яков Зайцев,
Герой Советского Союза

Краснодарский край,
г. Сочи

Вспоминая своих однополчан-фронтовиков, хочу ска-
зать: нас вели в бой опытные и смелые командиры, такие,
как Вы, гвардии лейтенант Расков.

Иван Сумароков

Иван Сумароков,
гвардии рядовой запаса,
учитель истории

Орловская область,
с. Лаврово

О мужестве Раскова хочу сказать словами А. М. Горь-
кого: «Герой тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто
побеждает смерть».

Андрей Чамов

Андрей Чамов,
гвардии генерал-майор
в отставке

г. Воронеж

Иван Расков! Вот это настоящий Человек! Сколько в нем мужества, стойкости, выносливости. Мы гордимся тобой, коммунист, воин, рабочий!

И. Сакова

Полина Сакова,
гвардии старший лейтенант
запаса

г. Симферополь

В борьбе за жизнь, в бою и труде гвардеец Расков — достойный последователь Николая Островского и Алексея Маресьева.

Мужество — побеждает!

А. Свирин

Афанасий Свирин,
гвардии полковник в отставке, б. комиссар
гуртьевской дивизии

г. Свердловск

На фронте бытовала такая поговорка: «Смотри на опасность глазами смелости — и будешь в целости». Так действует наш славный однополчанин гвардеец Расков.

К. Аносов

Константин Аносов,
гвардии полковник в отставке, б. начальник
политотдела гуртьевской
дивизии

Сталинградцы... Они и в мирные годы на передовом крае. Бывший гвардеец сержант Герой Советского Союза Хасан Мамутов плавит свинец в Казахстане, бывший комиссар Афанасий Матвеевич Свирин работает на шарикоподшипниковом заводе. Бывший пулеметчик Василий Титович Чепелев трудится в Омском сельскохозяйственном институте.

Владимир Макарович Савчинский стал целинником, а медсестра Зинаида Зырянова — инженером хлебозавода. Елена Нарыжная, бывшая парторгом артиллерийской батареи, теперь сельская учительница. Ее коллегами также стали супруги Бузыцкие: Павел Алексеевич, в прошлом командир артиллерийского дивизиона, и Надежда Дмитриевна — медицинская сестра. По своей специальности в гражданских условиях работает бывший полковой врач Василий Степанович Макаренков.

И о многих однополчанах люди отзываются добрым словом. Хасан Мамутов — ударник коммунистического труда. У агронома Савчинского к боевым орденам прибавился орден Трудового Красного Знамени, которым его наградили за освоение целины.

Расков порою до утра читает письма и отвечает на них. И каждый день раскрываются все новые и новые страницы жизни фронтовых друзей. Он гордится тем, что, несмотря на тяжелое ранение, по-прежнему, как и на фронте, шагает в одном ряду с ними.

Его необыкновенная судьба взволновала не только однополчан. Пишут люди, которых он никогда не знал, благодарные ему за его подвиг под Сталинградом, за всю его многотрудную жизнь. Письма идут из городов и сел, от командиров и бойцов Советской Армии, учителей и школьников, людей, убеленных сединой, и совсем юных, только что начинающих свою жизнь.

Письма, письма... Их стало такое множество, что теперь

они доходят до него с коротким адресом: «Хабаровск, Раскову», хотя живет Иван Степанович в горняцком поселке, далеко от краевого центра. А один школьник, очевидно, подражая чеховскому Ваньке Жукову, даже не указав на конверте город, написал так: «Улица Арсеньева, Ивану Степановичу». И письмо дошло до адресата.

Двадцать лет Расков старался всегда быть в тени. Он никогда не искал славы.

А тут... Его окровавленный комсомольский билет стал реликвией Волгоградского музея. О его делах рассказывается в газетах, по радио, телевидению. В родной гвардейской дивизии его портрет поместили среди портретов героев Великой Отечественной войны.

Письма, письма... И в каждом письме люди восхищаются им.

Одно из писем из его последней почты:

«Дорогой Иван Степанович! Восхищаюсь вашим мужеством». Расков поморщился. Но следующая строка расправила морщины! **«Рад, что нашел Вас!»**

И. Корнеев

Кто его нашел? От радости захватило дыхание: Корнеев Иван Федорович. Бывший политрук роты. Живой! Старый омский рабочий вернулся на родной завод.

В памяти всплыло не по летам морщинистое лицо с добрыми глазами. Сколько трудных боевых дорог прошел Иван Степанович с этим человеком! На фронте он стал для Раскова вторым отцом...

Расков свернул на родную улицу, открыл калитку сада и вошел в дом. А навстречу детский голосок: — Папа! Тебе письмо и посылка.

Расков вскрыл письмо, прочитал и передал его жене.



Вот о чем он мечтал двадцать лет назад в тот памятный сентябрьский день, когда вел свою роту в наступление.

Вместе с письмом была коробочка с нагрудным значком «Гвардия».

Людмила Александровна прикрепила к праздничному костюму Ивана Степановича рядом с орденом Отечественной войны первой степени драгоценную награду. На черном пиджаке словно огненное запылало Красное знамя с золотыми буквами «ГВАРДИЯ».

— А что означает этот знак? — тихо спросила девочка.

— Это означает, Танюша, что наш папа всегда будет идти по жизни гвардейцем.

Девочка посмотрела на отца. Он стоял у окна, задумчиво глядя в даль. Таня, а за нею и мать повернулись к окну. Вдали темнело небо, и на нем вырисовывалась черная извилина гор. Больше ничего там разглядеть нельзя было.

А Расков видел многое. Он видел утро, приволжскую степь, объятую ураганом войны, а среди огня и свинцового ливня зеленый клен. Жив ли он? Конечно, жив! Он не мог погибнуть. Он, должно быть, окреп, еще шире раскинув свою крону. За двадцать с лишним лет, что миновали с тех пор, всякое с ним было. Морозы леденили его, тучи металы в него молнии, знойные бури сушили, гнули его ветки.

А клен стоит, растет, шумит и шумит зеленой листвой...

Аркадий Борисович Борисов
Михаил Лазаревич Ингор

МУЖЕСТВО ИВАНА РАСКОВА

Редактор *П. Д. Кондюкова*
Художественный редактор *В. В. Щукина*
Технический редактор *Т. И. Гончарова*
Корректор *З. А. Росаткевич*

Сдано в набор 19/IX-67 г. Подписано к печати 28/V-68 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 4,5+2 вклейки.
Усл. печ. л. 6,48. Уч.-изд. л. 6,57. Изд. инд. МПД-58.
А07359. Тираж 30 000 экз. Цена 21 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь
Московской области, Школьная, 25, Заказ 1003,

21 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» - 1968